

Владимир Одоевский Саламандра

I ЮЖНЫЙ БЕРЕГ ФИНЛЯНДИИ В НАЧАЛЕ XVIII СТОЛЕТИЯ¹

Посв. графине Эмилии К-е Мусиной-Пушкиной

«Гина, прибрось еще дров в печку. Даром что лето, а тепла еще нет, или уж я от старости тепла не чувю». Гина встала, бросила в очаг несколько сосновых поленьев; сильно запылала смолистая кора и обдала всю хижину живым, веселым светом; старушка вздохнула.

– Вот, – сказала она, – когда был у нас Павали, не носила я дров; а теперь уж и дрова на исходе, кто-то их нам перетащит в избу?

И старушка пригорюнилась.

– Ничего, еще придет, натаскает дров и лучины наколет к рождеству, – произнес старик твердым голосом, как бы сам не доверяя словам своим.

И она замолкла. Между тем из-за кучи хвороста вышел мальчик лет 12-ти, приемыш бедного финна, и весело тащил за собою маленькую Эльсу, внучку стариков. Но Эльса не хотела идти к печке и вырывалась у него из рук; Якко дразнил ее и громко смеялся, но увидя печальный вид старика, примолкнул и спокойно уселся на полу против огня.

Избушка, в которой происходила эта небольшая сцена, была построена на самом берегу Вуоксы. Теперь берега Вуоксы выглажены, разряжены, по скалам тянется ровная дорожка с перилами; беседки в безвкусном английском роде, хорошо выбеленные, ожидают праздных путешественников; но и теперь, как прежде, ужас находит на человека, когда он осмеливается заглянуть в страшную kloчочущую бездну. Река Вуокса тиха и спокойна в своем течении; но беспрестанно скалы то ложатся поперек ее, то сжимают ее узкими берегами, и река кипит, бурлит, рвется к родному морю, ползет на утесы, бросает в воздух глыбами белой пены, подмывает огромные сосны; сосны падают в пучину, чрез минуту за версту от порога Вуокса прибывает к берегу дребезги огромного дерева – и снова течет тихо и спокойно. Она похожа на доброго человека, которого судьба раздражает на каждом шагу жизни: гневно и сильно борется он с судьбою, но после борьбы все затихает в душе его, и снова светится в ней ясное солнце.

За 130 лет на Иматре не было ни дорожек, ни беседок; праздные петербургские пришельцы

¹ В сей повести читатели найдут опыт рассказа, основанного большею частию на финских поверьях. Гроту, переводчику тегнеровой «Саги о Фритиофе», с такою пользою посвятившему труды свои Финляндии, мы обязаны неожиданным и в высшей степени любопытным открытием драгоценных подробностей о характере и преданиях финнов, столь разительно отличающихся от преданий всех других народов (см. «Современник» 1839–1840). О финнах нельзя судить, не проникнувши внутрь их страны и не познав их семейный быт. Врожденная страсть к чудесному соединяется в них с сильным поэтическим элементом и с полудикою привязанностью к своей земле. Вообще финны добры, терпеливы, покорны властям, привязаны к своим обязанностям, но недоверчивы и столько хитры, что, увидев незнакомца, до случая умеют притворяться, будто его не понимают; однажды раздраженные, они не знают пределов своей мстительности. Они живут не в селениях, но уединенно в хижинах, разбросанных между гранитных скал; редко сообщаются не только с другими людьми, но и между собою; оттого известия о всем происходящем в мире до них доходят в виде искаженных слухов; в каждой хижине этот слух дополняется каким-либо чудесным рассказом (ибо финны большие рассказчики), и так мало-помалу происшествие, вчера случившееся, у них обращается в баснословное предание: явление любопытное, объясняющее до некоторой степени, каким образом образовались древние мифы. Вообще финнов можно назвать народом древности, перенесенным в нашу эпоху. Ленрот, отличный финский поэт, бродя по всем краям своей отчизны, собрал народные песни, никем до того не записанные; пересматривая их, он заметил между ними некоторую связь; при дальнейшем исследовании Ленрот открыл, что эти народные песни суть части целой стройной поэмы, и тем доставил новое доказательство для последователей Вольфовых мнений о происхождении «Илиады». Предания о происшествиях времен Петра и Карла XII еще живы в памяти финнов, но превратились в баснословное предание. Жизнь, близкая к природе, научила их знать свойства трав и кореньев; им известны даже таинства животного магнетизма; все это играет у них роль колдовства: послушайте рассказы о нем русских крестьян, поселившихся в Финляндии. Из письма финского крестьянина к императору Александру (Грот – в «Современнике») можно видеть, как охотно финны любят рассуждать обо всем, о чем только узнают, и с какой точки зрения смотрят они на предметы. Вообще быт, предания, поверья сего народа в высшей степени заслуживают внимания и суть неоцененное сокровище для литературных произведений. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

не обращали себе в забаву грозной силы природы; она была во всем своем девственном величии; но и тогда, как теперь, между порогов скользила ладья рыбака; отважный, он вверялся родной реке и спокойно закидывал сети между kloкочущими безднами. На берегу к двум утесам была прислонена финская избушка; между камнями, подернутыми желтым мохом, пробирались корни деревьев, а ветви их сплетались над кровлею, усаженною зеленым дерном; избушка была темна; четверугольная печь с вечно пылающими дровами, несколько обрубков сосен, куча хвороста, служившая постелью, на стене кантела, народный финский инструмент, похожий на лежачую арфу с волосяными струнами, – вот все, чем украшалось бедное жилище рыбака.

Ветер свистал в волоковое окно, некрепко припертое, иногда пробежал по струнам кантелы, и струны печально, нестройно звучали; когда утихал ветер, тогда слышался гул порогов; тряслись стены старой избушки, дверь, скрипя, поворачивалась на верях; искры сыпались из печи, дым облаком выносило из устья; по временам сильный порывистый дождь прорывался сквозь кровлю и брызгами обдавал жителей, но они, казалось, привыкли ко всему этому и не обращали ни на что внимания.

Так протекло довольно долгое время в совершенном молчании; лишь изредка Якко поворачивал глаза к старику, как будто хотел о чем-то спросить его, но боялся, или беззаботно бросал свежие ветки сосны в огонь и с детским любопытством смотрел, как мало-помалу в золотистых искрах истлевали зеленые смолистые иглы. Наконец Гина встала, достала с шеста несколько кружков древесной коры, подбеленных мукою, сняла с печки деревянную чашу с кислым молоком, и вся семья принялась за скудный ужин. Одна Эльса, получив свою долю, ушла снова за хвост.

В эту минуту Якко, поглядев пристально на старика, сказал: "Давно я хотел спросить тебя, дедушка, куда ушел наш Павали?"

– Куда, – отвечал старик, – разве ты не видел, как его солдаты увели?

– Да куда ж они его увели?

– Куда? на войну с вейнелейсами².

– А что такое война, дедушка?

– А вот видишь, Якко, с одной стороны приходят рутцы³, а с другой вейнелейсы, и спорят о том, кому достанется наша земля.

– Да нам-то что до этого за дело? – заметила Гина. – Пусть бы дрались между собою, а нас бы не обижали; ну, зачем они увели нашего Павали? На что он им?

– Да вишь, им нужны проводники дорогу показывать.

– Дорогу показывать? – сказала Гина. – Да что нам до этого? Как нам жить без Павали? И дров наносить некому, и коры некому намолоть.

– А вот придет, – повторил старик неверным голосом. Якко обратил снова к старику свои быстрые, вопрошающие глаза.

– Помнишь, дедушка, об рождестве, ты, подыгрывая на кантеле, распевал нам об нашей земле и о том, как о ней спорят калевы с пахиолами; это они-то и есть, что теперь спорят? Я тогда не понял всего; расскажи-ка еще, дедушка.

– Нет! То было в старину, а то теперь, – отвечал старик вздохнувши.

– Да на что им наша земля? – сказала Гина. – Разве нет у них своей?

Старик не отвечал, печально наклонил голову, седые локоны нависли на его бледные морщины, он сложил руки на коленях и, качая головою, стал говорить, как будто самому себе:

ФИНСКАЯ ЛЕГЕНДА

Нет на свете земли Краше нашей Суомии; у нас и море широкое, и озера глубокие, и сосны вечнозеленые; и в других землях также есть солнце, да оно покажется, посветит и спрячется, как у нас зимой. А наше солнце полгода отдыхает, зато полгода светит, и на полях наших едва уляжется роса вечерняя, как поднимается роса утренняя. Но в старину было еще лучше: было у нас чудное

² Так финны в старину называли русских. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

³ Старинное название шведов в Финляндии. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

сокровище Сампо⁴, пестрое, из разноцветных каменьев, и с такою крышей, что теперь всем ковачам не сковать. Тогда-то был рай земной в Суомии; ничего люди не делали, все делало Сампо: и дрова носило, и дома строило, и кору на хлеб молотило, и молоко доило, и струны на кантелу навязывало, и песни пело, а люди только лежали перед огнем, да с боку на бок поворачивались; всего было в изобилии; но когда Вейнемейнен рассердился на нас, Сампо ушло в землю и заплыло камнем, а на земле осталась только кантела. Тогда люди были не такие, как теперь, а великорослые, сильные. Они хотели разбить камень, трудились долго, но не дошли до Сампо, а только навалили груды каменьев на нашу землю. С тех пор проведали и другие люди, что в нашей земле есть такое сокровище; сперва рутцы, а потом и вейнелейсы; вот они и спорят с тех пор, кому достанется Сампо. У народа рутцы есть король, а у вейнелейсов царь. Оба они великие тиетаи⁵. Они ведают, как добыть сокровище из земли, но один другому уступить его не хочет. Давно уж они готовились завладеть им. Уж чего не знает наш тиетай Кукари? Он видит все, из чего что произошло, откуда и железо, и бурелом, и все силы земные, но перед царем и королем меркнет и его ум чудодейный. Царь, видно, сильнее короля, ибо знает, как он родился. Едва вышел король из материнского чрева, как топнул ногою об землю и сказал: что Юмала дал, того у меня Пергола не отнимет. И пошел он по земле с железным мечом; куда ни придет, махнет мечом, все люди вокруг него умирают; и такова его мудрость, что никто еще не видал, чтоб он ел или пил, а спит он одним только глазом, другим же все смотрит и в небо, и в землю, и все видит, что и как от чего происходит; одного только не видал он, как произошел царь вейнелейсов. Говорят, что вышел он прямо из моря. Была сильная буря, волны землю подмывали, корабли тонули, скалы с берегов падали в море. Король сидел на берегу, помахивал железным мечом и приказывал скалам подыматься из моря, но скалы не слушались; король рассердился, море пуще взбушевало; как вдруг расступилось, и из воды вышел царь вейнелейсов; одною рукою он приподнял скалы, а другою повел вокруг себя и сказал: все мое, что ни вижу. Король и пуще рассердился и бросил в царя железом; царь отвечал ему тем же. Тогда король бросил в него серую и селитрою. У царя же не было ни серы, ни селитры. Бой стал неровный. Царь собрал своих вейнелейсов и стал с ними ходить по белому свету; перешел он и за полудесятое море, там где небо к земле прислонилось. Придет в одно место, ударит железом по земле, скажет: копайте, и из земли выйдет железо. В другом месте ударит, выйдут из земли сера и селитра; в третьем – разные сокровища. Но все он не дорылся до Сампо, потому что Сампо только в нашей Суомии. Что ни собрал царь, все принес в свою землю. Но он так долго ходил по белому свету, что на его земле все люди постарели, у всех отросли длинные бороды. Царь рассердился. «Хочу, – сказал он вейнелейсам, – чтоб все помолодели, потому что нужны мне люди молодые и сильные». И такова была его мудрость, что от одного его слова все вейнелейсы помолодели: сделались они здоровы и сильны, и бороды у них отпали. Тогда царь велел вейнелейсам ковать оружие против врага своего, короля рутцов. Три дня усердно помогают царю рабы, на плечах у них пыль в сажень толщиной, на голове сажа в аршин, на всем теле густой слой копоти. Но про то узнала сестра царева. Приходит, смотрит и молвит: «много ты, братец, навел ковачей из-за полудесятого моря; вели мне сковать царское ожерелье, чтоб все почитали меня царицей; да вели мне выковать месяц из серебра и солнце из золота, чтоб они ходили вокруг меня и днем и ночью светили. Не выкуешь, братец, злые слова пошлю на тебя». Рассердился царь, услышав такие речи. «Нет царя, – сказал он, – кроме меня; есть у меня царское ожерелье, да не для тебя; есть месяц и солнце, да не тебе они светят». Царская сестра пригорюнилась и с досады стала гребнем чесать свои черные волосы; волосы падали на землю, и от каждого выросло ядовитое зелье. Потом разломала она свой гребень на части, и из каждого зубца вышел великан с луком и стрелами. Узнал об этом и король рутцов, и Турка, вечный враг всех христиан. И сошлись они вместе и напали на мудрого ковача. Увидевши это, ковач ударил молотом по наковальне, и от одного стука рассыпались в прах великаны; он ударил в другой раз – от наковальни отскочили куски железа и засыпали Турку; ковач ударил в третий раз – от наковальни брызнули искры, зажгли серу и селитру и опа-

⁴ Род финского Аполлона. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

⁵ Мудрецы, маги. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

лили короля рутцов. Король бросился в море, чтоб затушить огонь; царь за ним, – приходит к морю, а король уже за морем; царь гнаться – смотрит, нет корабля, вокруг него только песок морской, да голые камни, да топь, да болота. Царь собрал своих вейнелейсов и говорит им: «Постройте мне город, где бы мне жить было можно, пока я корабль построю». – И стали строить город, но что положат камень, то всосет болото; много уже камней навалили, скалу на скалу, бревно на бревно, но болото все в себя принимает и наверху земли одна топь остается. Между тем царь состроил корабль, оглянулся: смотрит, нет еще его города. «Ничего вы не умеете делать», – сказал он своим людям и с сим словом начал поднимать скалу за скалою и ковать на воздухе. Так выстроил он целый город и опустил его на землю. Между тем король, на другом берегу, ходит и думает: что такое царь затевает. Встречает его месяц. Король кланяется месяцу: «Ах, месяц Божий, не видал ли ты, что делает царь вейнелейсов?» Но месяц ему не отвечает. Короля встречает солнце; он кланяется солнцу: «Ах, солнце Божие, не видало ли ты, что делает царь вейнелейсов?» Но и солнце ему не отвечает. Король встречает море, он кланяется морю: «Ах, море Божие, не видало ли ты, что делает царь вейнелейсов». Море, наконец, ему отвечало: «Знаю, что он делает, он землю сушит, волны гонит в мое сердце; тесно мне становится в моих берегах, как тебе, королю, в твоём королевстве». – Нападем же на него, – сказал король, – авось либо просторнее будет нам на белом свете. – И согласились они, и пошли на царя войною. Король приготовил серу и раскаленные уголья, а море взбушевало, вылилось из берегов и всползло на кровли нового города. Царь отдыхал тогда после дневной работы, проснулся, видит: хочет море залить его! Сильно ударил он жезлом по морю, и море смутилось, быстро потекло в берега и только в страхе обмывало царские ноги. «Неси мои корабли!» – вскричал царь грозным голосом, и море приняло их на свои влажные плечи. «Застынь», – сказал царь, и море подернулось льдом серебристым. «Дуй, буря, в мои паруса», – сказал царь, и корабли покатались по скользкому льду. Король между тем, видя, что море застыло, смотрит и радуется. «Победило море, – говорит, – и затянуло вейнелейсов под своей льдиной». Еще смотрит он, чернеет что-то по белому снегу, ближе... ближе... горе!.. то летят корабли вейнелейсов; тщетно заклиняет их король, тщетно обсыпает красным угольем, с кораблей дышит бурный ветер, свивает в облако горячую серу и палит короля и всю землю рутцийскую. Испугался король и побежал к Турку просить подмоги. Но такова его мудрость, что он и у Турка за морями, и у нас на берегу в одно время. Чем-то кончится эта кровавая битва? Кому достанется земля наша? Кому достанется наше сокровище Сампо?"

Старик умолк, старуха давно уж дремала, Эльса изредка выглядывала из-за хвороста и опять пряталась. Лишь Якко, устремив блистающие глаза на старика, казалось, боялся проронить слово.

Старик не обращал внимания на своих слушателей; его речь овладела им совершенно; слова невольно лились одно за другим; он сам с любопытством слушал рассказ свой и боялся прервать его.

– Кукари говорил мне, – продолжал он после некоторого молчания, – что с некоторого времени ему чудятся странные сны: видит он, как поднимаются с суомииских берегов огромные скалы, переплывают под ноги царя вейнелейсов, и все он поднимается выше и выше, и на громаду скал взбегают суомийцы, и царь вейнелейсов прикрывает их своей огромною рукою. То чудится ему, что на берегу моря скалы разрываются с треском, а из них выходит огромный блестящий город; там собираются тietaи со всех сторон света и громким голосом ведут мудрые речи со всеми людьми суомиийскими. И над городом опять царь вейнелейсов в золотом венце; его носят облака небесные, с венца его на Суомию падают златистые искры и светят, как тысяча солнц. Чудно! Чудно!!

Старик призадумался. Все затихло в бедной избушке, лишь ветер свистел в волоковое окошко и печально пробегал по струнам кантелы; шумели пороги, дождь прорывался сквозь кровлю; длинные тени от очага то являлись, то исчезали по закопченным бревнам избушки.

Вдруг Гина вздрогнула: "Что это? Гром?" – вскричала она.

В самом деле, средь гула порогов слышались громовые раскаты; еще, еще – наконец удар следовал за ударом.

– Нет, Гина, – сказал старик, прислушавшись, – это не гром, это пушки. Гина, война и до нас дошла.

– Где-то теперь наш Павали? Как стоит он под пушкой, ведь убьет его.

Старик молчал и не мог скрыть своего беспокойства.

– Вот еще, еще... слышишь, муж... ах, скажи мне, где наш Павали?

Старик молчал; седые его волосы рассыпались по бледным морщинам, глаза не двигались; что-то мрачное в них отражалось.

Гина зарыдала.

– Слушай, Руси, – сказала она, – я ведь знаю, ты сам тиетай, ты с живой руки можешь видеть сам все, что хочешь...

Старик сердито посмотрел на Гину.

– Не сердись на меня, я твоя верная, покорная жена; я сорок лет знала твою тайну и никогда даже тебе не говорила об этом... Но теперь – чего тебе стоит? Узнай, узнай, где наш Павали... ты сам будешь спокойнее...

Старик встал и стал ходить по избушке, качая головой с видом нерешимости. Между тем пушечные выстрелы становились чаще и чаще и, казалось, приближались. Гина вскрикивала при каждом ударе и дрожала всем телом.

После некоторого времени старик откинул свои седые локоны и сказал: "Быть так! Полно плакать, может, узнаем, где наш Павали. Ну, да полно же плакать, говорят тебе!"

Старуха в минуту затихла и только смотрела на вещуна умоляющими глазами.

Старик продолжал: "Только смотри же, Гина, ступай на печь и не смей оборачиваться, а не то и тебе, и мне худо будет. Якко, ступай в хворост, зажмурь глаза и лежи смирно, пока я не позову тебя".

Все немедленно было исполнено по приказанию старика. Тогда он призадумался, повел по лицу рукою и сказал мрачным голосом: "Эльса, поди сюда".

Эльса упрямылась и не хотела идти из-под хвороста. Старик повторил свое приказание, и Эльса выползла из-под хвороста, приблизилась к старику, но жалась к стене и трепетала.

Почти силою старик подвел ее к огню и посадил на обрубок. Едва лицо бедного дитяти стало краснеть от действия жара, как она еще более задрожала, все ее тело пришло в судорожное движение. Старик взял ее за голову и придерживал крепко, чтоб лицо бедной малютки не отворачивалось от очага.

Через несколько времени он сказал ей тихим, но сердитым голосом: "Смотри, где твой отец". Судорожное движение дитяти увеличилось; бедная Эльса билась, чтоб вырваться из рук старика, но тщетно; его железные руки приковывали ее к обрубку.

– Смотри же, где твой отец? – повторил старик еще более гневным голосом.

Эльса затрепетала сильнее, но пристально устремила глаза свои в очаг.

– Вижу, – наконец сказала она прерывающимся голосом, – вижу отца... он сидит на камне... возле него дерево... нет, не дерево... возле него человек... солдат... он что-то говорит отцу... но я не могу расслушать...

– Слушай, – сказал грозно старик.

– Солдат говорит отцу, чтоб он отдал ему свое платье... отец не дает... они горячо спорят... ах, он замахивается на отца... отец ударил солдата... ах, солдат стреляет... отец падает... ах, отец умер...

Старик отскочил от нее при этих словах. Гина вскрикнула на печке... Эльса зарыдала, старик наклонил голову в ужасе и шепотом проговорил: "Вот мое наказание..." Якко дрожал под хворостом...

Через несколько времени послышался лошадиный топот... жители избушки вздрогнули... онемение прошло... вот как будто что-то ударило о землю: скоро дверь со стуком отворилась, и вбежал человек в финском платье, с мушкетонном в руке, облитый дождем, забрызганный кровью и грязью.

– Лодку! Лодку! – вскричал он на шведском языке, – скорее лодку.

Старик посмотрел на него и очень холодно произнес: an mujsta⁶.

⁶ Не понимаю – обыкновенная фраза хитрого финна. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

– Слышишь ли, что я говорю, – вскричал швед с гневом, – проклятая лошадь у меня пала... лодку!.. Сию минуту вези меня на другой берег.

Старик, хладнокровно поворотя голову, по-прежнему хотел выговорить свое: *an mujsta*, но Гина вдруг бросилась на пришельца: "Это платье Павали, ты снял его с Павали? Ты убил Павали? Где он, где он?"

Швед не понимал слов Гины и с гневом оторвался от нее: "Что за толки! Говорят вам: лодку, мне нельзя терять времени; я с важным донесением... Выборг взят русскими... слышите, понимаете... лодку... лодку, или убью".

Старик посмотрел на шведа с мрачным видом и, не двигаясь с места, опять проговорил: *an mujsta*.

Тогда швед потерял терпение: "Коли не понимаешь, – вскричал он, – так я тебе иначе покажу, чего мне надо..."

С сим словом он схватил старика за длинные волосы и потащил из избы. Гина впилась в шведа: "Ты убил моего сына, ты хочешь убить и мужа!" – кричала она, заслоняя двери и силясь помочь своему мужу. Раздраженный швед толкнул Гину так сильно, что она головою ударилась об окраину двери – Гина и не вскрикнула... Старик хотел схватиться за нее, но швед не дал ему времени и сильною рукою повлек его на берег...

На дворе прояснилось; ветер разрывал облака, и они как дым неслись по белому небу; деревья пригибало к земле, пена порогов, усиленная бурей, с ужасным ревом разбивалась о гранитные камни; первые лучи зари отражались на серых волнах кровавыми пятнами...

– Где переправа? – кричал швед, тряся старика из всей силы...

Кажется, на этот раз старик понял, он не отвечал ничего, но пошел прямо к лодке, привязанной между соснами, растущими по верховью над главным порогом.

– А! Понял наконец, – сказал швед с радостью, – вези скорее.

Старый финн отвязал лодку и хотел было уступить место шведу, но швед проник его намерение.

– Нет! – сказал он, – ведь вы народ хитрый, – пустишь меня, да сам уйдешь; ступай-ка вперед!

С сими словами он втолкнул старика в лодку, – старик повиновался. Привычными руками взялся он за весло, – видно было, что ему не впервые проводить свою лодку между опасными порогами... Изредка он посматривал на шведа, но в лице финна не было видно никакого чувства... На середине реки – швед вздрогнул. "Правее! Правее, – вскричал он, – нас несет к порогу".

– *An mujsta*, – отвечал финн, злобно улыбаясь... "Правее! говорю тебе, – или..."

С сими словами швед взялся за мушкетон – но было уже поздно: лодку быстро втянуло в белую пену, – едва раздался из волн сильный хохот старика, крик шведа... Мелькнуло что-то черное посреди клубов пены – и все исчезло навеки: и финн, и швед, и лодка.

Никто не был свидетелем этой сцены, кроме Якко, который в испуге бежал за стариком и при страшном зрелище окаменел на берегу.

В эту минуту несколько всадников в зеленых мундирах скакали на берегу... Вдруг конь передового поднялся на дыбы.

– Смотрите! – вскричал всадник по-русски, – здесь пала шведская лошадь, он должен быть здесь недалеко!

С сими словами начальник русского отряда быстро соскочил с лошади, за ним последовали другие, и все вместе вбежали в избушку; на пороге лежала убитая Гина; огонь на очаге потух; они не заметили Эльсы, которая еще не могла прийти в себя под кучей хвороста.

– Видно, что здесь был швед нерубленный, – сказал начальник отряда, – куда же он девался? Верно переплыл через реку; беда, если его не захватим.

Быстро выбежали русские на берег и встретили бедного Якко.

– Где гонец шведский? – спрашивали русские. Якко в самом деле не понимал их, но догадываясь, показывал рукою вниз по течению Вуоксы.

– Он должен быть недалеко, – сказал начальник, – на коней, живей!

С сими словами начальник вскочил на коня, посадил поперек седла бедного Якко, и весь от-

ряд поскакал по берегу. Так проскакали они добрую версту; там, где кипение порога прекращается, Якко замахал рукою, русские соскочили с коней к берегу и увидели, как волна прибывала дребезги лодки, обезображенные трупы старого рыболова и шведа в финской одежде.

– Не переплыл, голубчик, – вскричал начальник, – туда ему и дорога. Теперь марш назад, а не то шведы захватят. Ты, малый, будешь нам служить провожатым – и отряд помчался во всю лошадиную прыть.

Так неслись они около десятка верст; Якко не помнил самого себя: быстрое движение коня отбило у него и последнюю память.

Вдруг в лесу послышались ружейные выстрелы; русский начальник остановил свой отряд и стал прислушиваться.

Из лесу показалась толпа шведов. Увидев русских, они хладнокровно построились в боевой порядок и дали по отряду залп из ружей; но кажется, не разогли расстояния: только немногие из русских лошадей были ранены; между ними была, однако же, и лошадь начальника отряда; он спустил Якко на землю и, вскрикнув: "Ребята, за мною!" с палашом в руке бросился на шведов. Шведы не успели дать второго залпа; русский отряд расстроил ряды их, смял их лошадьми и рубил палашами. Шведы оборонялись храбро штыками; большая часть лошадей русских были ранены; почти весь отряд спешился, быстро стал в боевой порядок и, как новое свежее войско, пошел на израненных, смутившихся шведов; бой стал вполне рукопашный; штыки изломались; шведы бились прикладами, русские палашами. Преследуемый двумя шведскими фузильерами, начальник русского отряда, прислонившись к утесу, отважно отбивался от них надломленным палашом. Товарищи его были далеко, гибель казалась неизбежна. Уже русский творил молитву на смертный час, как вдруг один из его противников, пораженный сзади, упал на землю, за ним последовал и другой: тогда только русский начальник увидел пред собою маленького Якко с изломанным прикладом в руках. С сверкающими глазами, распаленный мщением, маленький финн ходил между рядами и когда замечал схватку, то поражал прикладом того, кто был в шведском мундире; он не спускал никому, ни раненым, ни убитым, и злобно ударял по головам где ни попало.

– Вот молодец, – кричали русские, – славно, славно, только лежачих не бей.

Через несколько времени разбитые шведы рассеялись снова по лесу. Начальник русского отряда, расставив несколько всадников для наблюдения, поспешил к главному русскому корпусу невдалеке от Выборга.

– Ты не расстанешься с нами, молодец, – сказал он молодому финну.

Якко не понимал ничего, глаза его горели, одно в нем было чувство: злоба на шведов; остальное все было забыто: он не знал, что с ним делается, и всему бессознательно покорялся. Через несколько верст поручик Зверев, начальник отряда, примкнул к главному русскому корпусу; уже он собирался ехать с донесением, когда среди лагеря все пришло в движение. "Царь едет! Царь едет!" – говорили между собою солдаты.

Якко ничего не понимал, что вокруг него делается; он видел только, что множество людей столпилось вокруг высокого черноволосого человека, пред которым все снимали шляпы; скоро и Якко привели в ту же толпу. Поручик Зверев взял Якко за руку, а высокий черноволосый человек, пред которым все снимали шляпы, потрепал его по щеке и проговорил что-то окружающим на языке, для финна непонятном.

Якко еще смотрел на черноволосого человека, не мог отвести глаз от него, хотел ему что-то вымолвить и не мог...

Через несколько минут Якко посадили в телегу, и он помчался сам не зная куда...

Так продолжалось дня три: во время дороги провожатый Якко, израненный солдат, ласкал, холил и кормил бедного финна.

Невиданные предметы, незнакомые люди, незнакомая пища, все это поражало молодого финна и приводило его в состояние, близкое к очарованию. Наконец, миновали финские горы, пошла ровная дорога между болотами. Скоро Якко увидел дома, показавшиеся ему удивительно огромными; проехав далее, он увидел дома еще огромнее прежних, широкую реку и за рекой другой город какого-то странного вида: на стенах блещут медные пушки и ходят часовые с ружьями; огромные лодки, каких Якко еще никогда не видывал, несутся по широкой реке; наконец телега

остановилась у каменного дома, проводник вышел из телеги, вытащил Якко, обессиленного от тряской дороги, и повел его за собою, где изразцовая печь с изображением людей и разных животных вывела из бесчувствия бедного финна. Через минуту в комнату вошел человек пожилых лет; он долго говорил что-то с проводником и гладил по голове Якко. Якко, ободренный этими ласками, стал бодро ходить по комнате; всякий предмет останавливал его внимание; он ощупывал мебели, обшитые зеленою кожею, дотрагивался до стекол, которых назначения никак не мог постигнуть. Особенно поразило его небольшое зеркало в простенке. Якко сначала обрадовался, увидев финна, но потом испугался, отбежал и спрятался в угол.

Между тем в комнату вошла женщина и за ней восьмилетняя девочка; они напомнили финну его прошедшую жизнь, напомнили ему Гину, Эльсу. В продолжение последних четырех дней Якко, пораженный всем случившимся, забыл все бывшее, но теперь он всплеснул руками, заплакал и стал кричать: "Эльса, Эльса!" Но никто не понимал бедного финна; его ласкали, старались утешить, но он все плакал и не ел целый день. На другое утро Якко сидел уже на корабле, вместе с другими молодыми людьми разных возрастов, и тщетно старался растолковать себе, где он и куда его везут.

Благосклонный читатель уже верно догадался, что Якко был привезен в Петербург, в новую столицу преобразователя России, только что возникшую из болот финских. В то время просветитель России дал повеление отправить в Голландию несколько молодых людей; они поручались попечению князя Куракина. Неохотно русские люди отправлялись за море обучаться басурманским наукам. Финский сирота, обративший на себя внимание Петра, был находкою в таком случае; корабль уже был снаряжен, бедным финном заменили какого-то нижегородского недоросля, о котором горько плакалась мать.

На корабле Якко встретил старых знакомых, и именно пожилого человека, который так ласкал молодого финна; этот пожилой человек был отец поручика Зверева, секретарь и домашний человек князя Куракина; он отправлялся со всем своим семейством к князю в Голландию.

Мы не будем описывать, как полудикий финн мало-помалу обратился в образованного европейца, как он выучился иностранным языкам, как сделался отличным физиком, механиком.

Протекли одиннадцать лет, и Якко, называвшийся теперь Иваном Ивановичем Якко, жил в Голландии у старика Зверева, который любил его, как родного. Сенные девушки толковали даже, что Иван Иванович приволакивался за меньшею дочерью Зверева, Марьею Егоровною, но старик часто твердил, что Ивану Ивановичу надобно прежде всего у царя выслужиться. Наконец, настало время разлуки; Иван Иванович должен был ехать в Петербург; с тем вместе отправлялся лестный отзыв князя Куракина к монарху о нашем Якко.

Приемыш бедного рыбака едва узнал юную столицу, – так возмужала она в короткое время; берега островов застроились, лес мачт покрывал лазурную поверхность Невы: и страшно, и весело было на душе финна. И теперь, как прежде, он знал о России еще по слуху; но ее величие тем сильнее поражало его. Он вспомнил свою родимую избушку, вспомнил баснословные рассказы о русском царстве и с трудом еще верил, что он посреди этого баснословного мира. Он вспомнил, как в первый раз увидел монарха; действительность мешалась в душе финна с очарованием: великий вождь России представлялся ему то в виде исполина, то в виде чудного волхва, покоряющего стихии; это верование в Якко получило полную силу, когда образованный ум его находил на каждом шагу убеждение, что чудные подвиги Петра не вымысел, но действительность. Тогда разгоралась в душе Якко восторженная любовь к преобразователю России и уверенность, что и он не достоин быть орудием монарха. Молодой финн знал, как дорожит он образованными людьми, которые в состоянии понимать его великие предположения, и гордою надеждою расширялось сердце молодого финна. Действительно, чудные тогда были минуты в русском царстве: Нейштадский трактат был заключен; Россия праздновала свою силу и подносила царю звание императора и Великого. Отечество было безопасно от врагов; еще не умолкал гул войны, но то был гул отдаленный, не близ юной столицы, но далеко на востоке. По сношениям князя Куракина наш молодой финн знал, что внутреннее улучшение обращало теперь на себя все внимание монарха. Россия походила на огромную машину, которой необъятная сила не знала границ; не доставало лишь маятника, который бы этой силе дал равномерное движение. Распорядок дел земских, средства сооб-

щения, воспитание народа, все возникало в голове Петра и с высоты престола, как могучее семя, падало на плодоносную русскую землю. С восторгом говорил себе финн, что для этих дел Петру нужны были люди; знал он и то, что монарх смотрел на возрастающее поколение, как на лучшую свою надежду, что часто с ранних лет он следил за молодым человеком, внимательно наблюдал за развитием его способностей, и вдруг, мгновенно посвящал его в высшие таинства трудов своих; тогда почитатели старины ворчали и удивлялись ошибке царя; но еще более дивились они, когда юноша оправдывал блистательные надежды, когда способности избранника соответствовали именно тому делу, на которое он был предназначен; старики приписывали такое счастье случаю или находили в царе искусство угадывать, не зная того, что великий царь издавна трудолюбиво следил своим орлиным оком за человеком, им избранным. Наш финн заметил также, что как все великие люди, богатые мыслями, опережающими время, Петр любил, чтоб его угадывали, что он ненавидел простое буквальное исполнение, что он искал в своих помощниках той любви к делу, которая преодолевает все препятствия, переходит за границы исполнения, изобретает новые средства для новых целей и предупреждает великие намерения Великого. Часто из писем монарха к князю Куракину Якко видел, что царь берег таких людей, как зеницу ока; он видел также, как часто Великий жаловался, что ему не за кого взяться.

В самом деле, царь издавна, по отзывам князя Куракина, знал подробно способности и любимые занятия молодого финна.

Однако воображение Якко не переходило выше унтер-лейтенанта или гиттенфервалтера, – но другое неожиданное для него дело приготовлялось. В аудиенции пред государем он проговорился о Венеции и о тамошних типографиях; несколько слов Якко показали; что ему известно это дело; а об этом деле уже с давнего времени заботился Петр Великий; теперь же вся его деятельность обращена была на это мощное орудие просвещения; типографское искусство еще мало было известно в России; немногие люди в России тогда могли быть к нему способны. Наш Якко был находкою для Петра в этом случае, и он дал ему в одно время несколько важных поручений: он велел ему заняться переводом некоторых иностранных книг, между тем заготовить план для образования новой типографии и в особенности обучить мастеров для типографского дела. Удивление и восхищение Якко были невыразимы; он невольно упал на колени пред великим царем и от полноты чувств не мог проговорить ни единого слова. Так полудикий финн, под могучей рукою Петра, должен был сделаться одним из орудий русского просвещения.

В конце 1722 года почтовая кибитка остановилась невдалеке от Вуоксы; молодой человек в богатом немецком кафтане выскочил из повозки, бросился на землю и целовал ее с жаром юноши. С трудом он выговаривал несколько финских слов, которые едва поняли окружающие; однако ж, они догадались, что путешественник спрашивает о дочери старого Руси.

Память о старике еще не исчезла между жителями Иматры; они помнили отважного рыбака и его удивительные рассказы в долгие зимние ночи. Показали Якко на берег, и в одно мгновение молодой человек бросился в лодку.

Когда он вышел на берег, слезы брызнули из глаз его; он узнал родимую хижину, родимые пороги, – сердце его сильно забилося. "Где же Эльса? Эльса?" – спрашивал он.

Невдалеке несколько праздных финнов окружали молодую девушку лет двадцати; она перебирала пальцами по кантеле, пела старинные песни о финском сокровище Сампо и приплясывала; в переднике ее лежали куски хлеба, полученные ею, вероятно, от слушателей.

– Вот Эльса, внучка старого Руси, – сказали провожавшие молодого человека.

– Эльса! Эльса! – вскричал он и бросился обнимать ее.

Эльса испугалась, закричала, хотела бежать.

– Эльса! сестрица! неужели ты не узнаешь своего Якко?..

– Ты обманываешь меня, Якко умер, убит, – отвечала Эльса и горько заплакала.

– Твой Якко жив, это я, приемыш твоего деда, понимаешь ли?

Эльса смотрела на него, но не верила и продолжала плакать.

Якко едва мог объяснить ей свои мысли. Выучившись почти всем языкам европейским, он забыл свой собственный и не находил в нем самых обыкновенных слов или употреблял одно слово вместо другого; но вид родимых мест помогал его памяти, и финские слова, хотя с трудом, про-

растали сквозь пласты чуждых слов и понятий, как корни берез сквозь финские граниты.

– Ты не веришь, что я точно Якко? – продолжал он. – Посмотри на меня хорошенько – неужели я так переменялся?

– Якко был наш, суомиец, а ты не наш, ты большой господин.

– Эльса! Эльса! я все тот же; только платье на мне другое. Посмотри, вот камень, на который мы, бывало, избегали; вот рябина, с которой я бросал тебе ягоды; вот здесь я тебе сделал рожок из воловьего рога; пойдем в избу, я тебе расскажу, где что лежало, где мы спали с тобою, где сидел Руси, где сидела Гина за печкой...

Они вошли в избу; все было в ней на прежнем месте, только стены немного покривились; та же четверугольная печь, то же волоковое окно, те же сосновые обрубки, та же куча хвороста, служившая постелью. Страшная ночь, рассказ Руси, его смерть, смерть Гины, – все живо возобновилось в памяти молодого финна; он все повторил Эльсе с подробностью.

Эльса уверилась наконец, что пред нею действительно Якко, и бросилась, рыдая, в его объятия. Они сели.

– Скажи же мне, Эльса, как живешь ты? Где живешь ты?

– Я живу здесь, в этой избе.

– Одна?

– Одна; да чего ж бояться? все здесь свои люди. Днем я хожу к пастору учиться грамоте – я уж умею читать, Якко, – потом выхожу на дорогу, играю на кантеле, пою – добрые люди дают мне хлеба – посмотри-ка, я сколько уж набрала его, на целый год. Тут есть даже кнакебре⁷. – Эльса с гордостью показала на ворох кусков, ею набранных. – Вечером прихожу сюда, вспоминаю об отце, о деде, о тебе, Якко, поплачу и лягу спать.

– Ну, Эльса, скажу тебе, теперь будет не то, – я теперь богат, и ты будешь жить богато...

– Что же ты нашел, Сампо, что ли?

– Почти так.

– Где же ты нашел его, Якко?

– У русских...

– Ах, и рутцы тебя не убили? – вскрикнула Эльса, не поняв своего собеседника...

– Не рутцы, а русские, Эльса, или, по-твоему, вейнелейсы.

– Так ты был в их земле?

– Я живу там и тебя повезу туда с собою...

– Зачем? Как можно? – вскричала с ужасом Эльса. – Ведь это так далеко, далеко от нас... Где же мы спать будем?..

– Там, в моей земле...

– Да здесь твоя земля, Якко... эта земля моя, мне сказал пастор, а стало быть, и твоя...

– Ты не понимаешь меня, милая Эльса; в России у меня есть дом, в шесть раз больше, нежели твоя избушка; там ты будешь ходить в пестром платье, каждый день есть чистый хлеб...

– Как это можно? – повторила Эльса.

– Послушай! – наконец сказала она ему, – знаешь, что я выдумала; вместо того, чтоб мне с тобою ехать, ты привези сюда свое Сампо?..

– Это невозможно, Эльса.

– Отчего невозможно? Ты думаешь, что я не управлюсь; нет, я большая хозяйка; я умею коров доить, делать кислое молоко, даже кнакебре напеку на целый год; а если у тебя столько достанет богатства, то мы купим соли и насолим рыбы, то-то будет счастье.

Молодой человек покачал головою, улыбаясь:

– Все это невозможно, милая Эльса, я служу царю вейнелейсов, я должен ехать в его землю, а неужели ты меня покинешь?

– Как мне расстаться с тобою, Якко! Ни за что, ни за что. На мне уж многие хотели жениться, но я всем отказывала, я всем говорила, что один Якко будет моим мужем, и теперь говорю, как

⁷ Лепешки из муки, употребляемые только зажиточными поселянами. «Он круглый год ест чистый хлеб» есть у финнов выражение величайшего богатства. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

же мне расстаться с тобою? Но зачем тебе ехать, не понимаю; по крайней мере, будем ли мы приезжать домой?

– Мы будем, пожалуй, иногда приезжать сюда.

– Иногда, а как часто? Каждый день?..

– Невозможно.

– Ну, раз в неделю, в воскресенье, в церковь.

– И это невозможно, а разве раз в год.

Эльса не отвечала, но горько плакала.

Между тем невинное предложение Эльсы выйти за него замуж заставило молодого человека задуматься. Посмотрев пристальнее на Эльсу, он заметил, что, несмотря на ее странный наряд и на волосы, поднятые на маковку под безобразную шапочку, Эльса могла почесться красавицей; лицо ее было не совсем правильно, но имело невыразимую прелесть, особенно когда улыбалась; иногда ее голубые глаза беспрестанно перебегали от предмета к предмету, иногда оставались совсем неподвижными, и тогда в них отражалось то грустно-таинственное чувство, которое замечается лишь у женщин северного племени.

Странные мысли приходили в голову молодого человека; теперь он уже другими глазами смотрел на Эльсу; он воображал себе ее одетую в парадное платье, в его доме, в петербургской ассамблее, и сердце его билось сильно и порывисто; но с другой стороны, ему страшно казалось соединить навек судьбу свою с женщиною почти полудикою, которой язык не будет никому понятен, которая понимает в жизни лишь первые ее потребности; он воображал себе все огорчения, которым она будет подвергаться в обществе, для нее недоступном, все насмешки, которые будут преследовать ее безыскусственное простосердечие и совершенное незнание самых обыкновенных предметов. Он испугался мысли провести с нею три дня в одной повозке: самая невинность, самая непритворность ее чувств могли быть для них обоих губительны.

– О чем ты задумался, милый Якко? – сказала ему Эльса, схватив его за лицо руками. – Ты, верно, раздумал и хочешь дома остаться, не так ли? – И с этими словами она, пока он еще не мог опомниться, горячо поцеловала его в губы. Невольная дрожь пробежала по членам молодого человека.

– Нет, Эльса, не то, – отвечал молодой человек, стараясь казаться хладнокровным. – Ты знаешь дорогу к пастору?

– Как же, и самую короткую, я все тропинки знаю...

– Поведи меня к нему.

– Пойдем, пойдем, но ты, я чай, голоден; есть не хочешь ли? – И с этими словами она подала ему лепешку из коры пополам с мукою...

Якко с отвращением и горестью посмотрел на эту странную пищу. – Нет, – сказал он, – я не хочу есть; пойдем поскорее к пастору.

И Эльса побежала, схватив Якко за руку и с аппетитом пригрызывая свою лепешку.

В пасторе Якко нашел человека доброго и образованного. Молодой человек объяснил ему странность своего положения, и пастор совершенно понял его.

– Я могу помочь вам, – сказал добрый старик, – жена моя отправляется сегодня в Ниеншанц, т. е. в Петербург, хотел я сказать; у ней есть место в одноколке, и ваша Эльса может с нею доехать в этом экипаже, пока еще не привыкла к лучшим.

Молодой человек, поблагодарив пастора за его одолжение, прибавил, что у него нет ничего, кроме кибитки, и должно признаться, сказал он: – что *наши* русские повозки вовсе не годятся на *ваших* горах.

Когда все было улажено к отъезду, пастор отвел молодого человека в сторону: "Я должен вас предостеречь, – сказал он, – вы везете Эльсу в чужую сторону; знайте, что она подвержена чему-то похожему на падучую болезнь; особенно удаляйте ее от огня и от лунного света: и то и другое, кажется, производит на нее вредное влияние; от того и от другого она приходит в какой-то сон и начинает говорить престранные речи. Простой народ считает ее колдуньей".

От этого рассказа Якко вздрогнул; он вспомнил забытое им до того гаданье старика и, несмотря на свою образованность, по духу времени, не мог выбить себе из головы, чтоб Эльса не

была в самом деле околдована. Он не сообщил, однако же, своего замечания пастору, но дал себе слово не упускать из виду этого обстоятельства. Много стоило труда уговорить бедную Эльсу сесть в одноколку; она не хотела и ехать из родины, и не хотела быть не вместе с Якко, и не хотела не ехать. Она плакала навзрыд; почти без чувств усадили ее в повозку.

Якко с удивлением замечал во время дороги, что на Эльсу ничто не производило впечатления; ни любопытство, ни изумление не были доступны ее душе; одно в ней было заметно – страх при виде чужих и воспоминание о родимой избушке. Наконец повозка остановилась у петербургской заставы, – караульные солдаты разглядывали одноколку, отлично окрашенную красною краскою, засматривались и на наших дам.

– Вот, – толковали они, – и чухна в красной коробке приехала, – помоложе-то недурна, – хоть куда, – вишь какая смазливая...

Эльса испугалась, смотря на эти усаые лица, запаленные порохом, выглядывавшие из-под огромных шишаков. И пасторша струхнула, хотела что-то сказать солдатам, но немногие русские слова, которые она знала, мешались с финскими и немецкими.

– Что ты там лепечешь, чухонская ведьма? Или боишься, что сглазят? – сказал один из солдат, и вся толпа захохотала громким русским смехом.

В эту минуту Якко догнал наших путешественниц и подошел к одноколке. При виде человека в немецком кафтане и который притом говорил по-русски, – толпа разошлась.

– Куда ты завез меня? – говорила Эльса. – Какие люди здесь страшные! И говорить не умеют, а все что-то так страшно кричат!

Якко засмеялся замечаниям бедной Эльсы и старался ее утешить. Между тем пасторша поняла в разговоре русских только одно слово: "ведьма", потому что ей уже не раз случалось слышать его, она не замедлила рассказать Эльсе, что их бранили, и Эльса с простодушием спрашивала: по какому праву их бранят, когда они ничего дурного не сделали?

Якко шепнул слова два вышедшему на ту пору караульному офицеру; он прикрикнул, и Эльса видела, как страшные люди в шишаках вытянулись и сделались как окаменелые.

Все это казалось Эльсе и чудно, и страшно.

На первую минуту пасторша привезла Эльсу в дом своих родственников; Якко, поручив им заботу о ее costume, отправился к Звереву, рассказал ему свое сиротство, как он призрен был отцом Эльсы, его печальную кончину, чудесное сохранение его дочери и просил именем благодарности и человеколюбия принять к себе в дом бедную девушку. Добрый Зверев, посоветовавшись с женою, согласился. И вот наша Эльса, боязливое, своенравное дитя природы – в фижмах, в полуроброне; ее учат держаться прямо, ходить тихо, не бросаться на шею Якко; она скована во всех движениях, не смеет поднять головы, не смеет пошевелиться, едва смеет курнычать свои печальные финские напевы.

Егор Петрович Зверев был человек русский, но полунемец или, лучше сказать, полуголландец. Он не получил большого образования, но долгое пребывание в Голландии сильно на него подействовало. Он сделался воплощенною аккуратностью: каждый день вставал в определенное время, надевал белый миткалевый халат, заплетал свою косичку, выкуривал трубку голландского канастера и принимался за дело, которое непременно оканчивал в определенный час, и каждый день проговаривал свою заветную фразу: «уже двенадцать часов за полдень – не пора ли обедать, Федосья Кузьминишна?» Он не постигал ничего, что делается в России, но делал и говорил то, а не другое только по той причине, что *так следует*. Дом его был бы как заведенная машина, если б не мешала ему немного жена его, Федосья Кузьминишна; она хотя также жила в Голландии и часто с какою-то гордостью рассказывала о том своим соседкам, но на нее голландский дух мало подействовал; она никак не могла понять, зачем каждый день надевать чистое белье; зачем в 8 часов, а не прежде и не после поливать цветные луковицы; почему каждую субботу надобно было мыть все полы, окошки и стены и натирать мебель воском, когда не ожидали гостей. От этого между супругами бывали стычки; увидя кресло не на прежнем месте, стол ненатертый, Егор Петрович говаривал жене шепотом, чтоб не слышали домашние: «Не вашего ума это дело, Федосья Кузьми-

нишна». А она отвечала также шепотом: «Что делать, глупешенька, мой батюшка, так век изжила, так и в могилку пойду». Никогда эти ссоры не выходили наружу; только домашние знали, что когда старики начинали говорить друг другу: *вы*, то значило, что между ними черная кошка пробежала.

Марья Егоровна была серединою между отцом и матерью; полна, свежа, румяна, но немного смугловата; ей бы и поспать, и на лежанке понежиться, и поболтать под вечерок с просвирнею о том, что делается в околотке, но настанет утро, и Марья Егоровна затянется в корсет, наденет фижмы и сделается совсем голландкою; не разговорится, не пошевелится и только крахмаленные манжеты оправляет. Сын Зверева был всегда в походах.

Затем к семье причислялись Евдоким, старый слуга Зверева, и несколько сенных девушек, из которых главная была Анисья-ключница, которой отличительным свойством была ужасная скупость, не за себя, но за господ; отпуская масло и другие домашние снадобья, она всегда отмеривала немножко меньше положенного и преравнодушно выслушивала за такое соблюдение господского добра жестокие упреки других челядинцев.

Вот в какую семью попала наша Эльса. Сначала, запутанная новостью предметов, видом чужих людей, она слепо повиновалась, но возвращаясь в отведенную ей комнату, она с восхищением сбрасывала свой дневной наряд, начинала потихоньку плакать, петь свои финские песни, а потом и приплясывать.

Якко через день навещал Эльсу; чаще нельзя ему было ходить; он занят был важным делом, переводил какую-то книгу по *цифирной науке*; работы было много, а времени мало – торопили нашего переводчика.

– Якко, Якко, – говорила ему Эльса, – здесь беда, здесь в баню нельзя ходить...

– Отчего же, Эльса?

– Как отчего? Я хотела потихоньку истопить, чтоб не околдовали, но эти вейнелейсы большие тиетаи, тотчас узнали и помешали; все со мной в баню хотят идти и все смеются надо мною; они заколдуют меня – это верно... – И Эльса заплакала.

Якко напрасно старался вразумить ее.

– Нет, – говорила она, – что ни говори, а здесь страшная земля, и страшные люди твои вейнелейсы. Онамедни повели меня по улицам, смотрю – они собрались и землю наказывают...

– Как? Землю наказывают?..

– Да! Ты скажешь, что и это неправда, я сама видела, как они обтесали дерево колом и огромным молотом на веревках вбивали его в землю, так что земля стонала, а они-то кричат, кричат... до сих пор у меня в ушах отдается этот страшный крик.

– Глупенькая! Да они вбивали сваи, чтобы строить дома!..

– Да зачем же, у нас на Вуоксе дома и без того строят?

– Да на Вуоксе камень, а здесь земля не держит...

– И земля здесь не держит! Все здесь не так, как надобно! Страшно, страшно, Якко! Послушай – а это что значит? Когда мы ехали сюда, я на дороге видела, вейнелейсы подложили огонь под большой утес, утес грохнул и разлетелся на мелкие части – что они, Сампо, что ли, искали?

– Нет, они хотели разрыхлить землю...

– Как? Им кажется земля то слишком мягка, то слишком крепка – вот видишь, что ты сам противоречишь себе, Якко; уж я вижу, что тут что-то нечисто. Страшно, страшно здесь, Якко. И грустно мне, грустно! Как вспомню наши горы, наши дороги – так и зальюсь слезами; там я была вольна, как рыба в воде, – день-деньской на свежем воздухе, над головою небо, кругом туман, в недалеке родимые песни и на душе чудный говор; а здесь ни неба, ни тумана, ни песен, ровно нет ничего, а сердце молчит от испуга: поверишь ли, Якко, я здесь еще ни разу не слыхала родимой песни; только и видишь в окошко, что ходят усатые вейнелейсы да землю роют, Сампо ищут. Послушайся меня, милый Якко, убежим, убежим отсюда скорее, пока вейнелейсы и нас в землю не вколотили или на воздух не взорвали...

– Куда же бежать нам, Эльса?

– Куда? Домой, домой, на Вуоксу, на Вуоксу – не век же здесь жить! Там мы женимся, Якко, и забудем про вейнелейсов...

Подошедшая Федосья Кузьминишна прервала разговор.

– Скажи ей, батюшка Иван Иванович, ведь она ни по нашему, ни по-немецкому не понимает, – что она все хныкает; уж, правду сказать, Бог с ней, такая чудн а я; хлебного мякиша не ест да корки собирает; за обедом в рот ничего не возьмет, а только день-деньской свои корки гложет...

– Э! Федосья Кузьминишна, – сказал Егор Петрович, – это уж народ такой, я знаю его; – ничего! Молода, попривыкнет... так следует.

– Это ваша воля, – отвечала Федосья Кузьминишна с видимым неудовольствием, – а ведь вы сами же в доме порядка требуете и выговариваете, когда на полу крошки или что другое.

Марья Егоровна молчала, но пронизательный Якко скоро заметил, что она исподтишка ревновала его к Эльсе.

У Ивана Ивановича на уме было и один и два. Нравилась ему Марья Егоровна, девушка красивая, смиренная, по-тогдашнему довольно образованная; семейство у ней доброе; Марья Егоровна не осрамила бы его и в царской ассамблее; но как сравнить ее с Эльсою, то своенравною, то задумчивою, то веселою Эльсою. Когда, сидя под окном пригорюнившись, она раскидывала свои белокурые локоны, глаза ее беспрепятственно перебегали от предмета к предмету, и она напевала любимую свою песню о том, как жаловалась береза на свое одиночество, Якко забывал и свои житейские выгоды, и надежды; родное чувство отзывалось в груди его, и он, подобно Эльсе, готов был все бросить и укрыться с нею в бедную избушку на финляндских порогах.

Проходило несколько часов, Якко вспоминал о своей новой жизни, о своем участии в трудах Великого, и тогда пелена спадала с глаз его: он видел в себе будущего начальника адмиралтейской типографии, воеводу, близкого к государю человека; тогда, по неизбежному сцеплению мыслей, он пугался своей женитьбы на полудикой чухонке, и Марья Егоровна представлялась ему во всем великолепии, в богатом робронте, при дворе, окруженная иностранными гостями, которые не могут надивиться ее ловкому и учтивому обращению.

В таких мыслях Якко, не зная, на что решиться, уходил домой и принимался за свою книгу о цифирной науке.

Егор Петрович с отцовскою добротою занимался бедной Эльсою; не знала она грамоте – он приговорил приходского дьячка учить ее по-русски; но неискусство ли учителя, неспособность ли ученицы, – наука не давалась; Эльса училась, терзалась и плакала как ребенок. Приставлен был к ней и танцмейстер; хотя долго бился добрый немец Штолцерман, но эту науку она поняла скорее – Эльса уже очень порядочно танцевала менуэт, кланялась и приседала; Егор Петрович не мог ею довольно налюбоваться; но после урока Эльса по-прежнему убегала в свою комнату, пригорюнивалась и опять начинала петь о своей березе.

Скоро представился Эльсе случай показать свои танцевальные способности во всем блеске.

Егор Петрович объявил, что следует всем явиться на ассамблею, которая была объявлена в их соседстве. Федосья Кузьминишна было и воспротивилась, но Егор Петрович ей заметил: "Не прекословьте. Федосья Кузьминишна, так следует: на ассамблеях бывают и шкипера голландские с женами, и знатные люди, и сам государь, а вы только приоденьтесь хорошенько и приоденьте девиц – так следует, говорю вам".

– Как? – возразила Федосья Кузьминишна, всплеснув руками, – и чухонку с собою везти?

– Непременно, Федосья Кузьминишна, и чухонку; пусть ее людей увидит, себя покажет, надобно же ей свет узнать... Так следует, говорю я вам, Федосья Кузьминишна.

На такую речь у Федосьи Кузьминишны не было возражений, она покачала головой и отправилась готовить наряды.

Наступил день ассамблеи. Егор Петрович, в голубом глазетовом кафтане, с стразовыми пуговицами, в полосатых чулках с красными стрелками и с корабликом под мышкою; Федосья Кузьминишна в желтом робронте, Марья Егоровна в розовом, – Эльса, которую звали Лизаветой Ивановной, – в ярко-красном, что ей очень нравилось.

Вот пришли в ассамблею; Егор Петрович, раскланявшись с хозяином, скоро встретил голландского шкипера, который пригласил его на кружку пива и на трубку табака. Федосья Кузьминишна уселась с барышнями к дамам, которые плотно пристали по стенке, ожидая начатия танцев:

старые с ужасом, молодые с нетерпением. Эльса ничего не видала и не слыхала, что вокруг нее; она была так испугана с самого своего приезда, что сердце ее находилось беспрестанно то в тревоге, то в полном онемении. Она села также и по обыкновению бессознательно поводила глазами со стороны в сторону; перед ней пестрела толпа, и лица, сменяясь одно другим, почти исчезали для нее; шум разговоров, свет, движение, все оглушало ее и физически, и морально. Вдруг глаза ее остановились на противоположной стенке; она смотрит: что-то знакомое... да, это берега Вуоксы, это пороги – над ними светит солнце – радуга играет в причудливых брызгах, – тут и родная избушка, и утес, к которому она прислонена... Не чудо ли это? Не какой ли тиейтай перенес Эльсу на родимую землю... Сердце Эльсы сильно бьется, в глазах темнеет... она слышит шум порогов... ей дует в лицо влажный ветер... чудятся звуки родного языка, – не поют ли любимую ее песню? – И Эльса начинает потихоньку напевать ее... потом... громче, громче – вдруг ужас! раздался какой-то треск, Эльсу окружают страшные лица вейнелейсов, между ними Якко с сердитым лицом говорит: "Опомнись, опомнись, Эльса..."

И все исчезло – Эльса видит себя опять в ассамблее, вокруг нее толпа народа, все хохочут, Якко смотрит на нее с недовольным лицом.

– Что с тобою, Эльса? – спрашивает ее Якко. Эльса не могла отвечать, но только рукою показала на противоположную стену.

Тогда для Якко все объяснилось; на стене висела большая картина, представлявшая иматровский водопад. Вокруг Якко столпились люди, и он несколько раз принужден был рассказать, отчего распелась хорошенькая чухонка; говорят, что и государь, из другой комнаты пожелавший узнать о причине тревоги, улыбнулся, слушая рассказ об этом невольном порыве души бедной Эльсы.

Егор Петрович был очень оконфужен этим происшествием и не знал, что отвечать на упреки Федосьи Кузьминишны, которая толковала, что Лизавета Ивановна навек их осрамила при всей компании. А делать было нечего, уйти домой нельзя из ассамблеи, царь еще не выходил – и волею-неволею надобно было остаться. Скоро, чтоб отвлечь внимание от Эльсы, Якко пригласил Марию Егоровну на менуэт; он был отличный танцор, все поднимались с места, когда он выводил даму, и теперь мгновенно вокруг танцующих составилась маленький кружок; между зрителями была и Эльса; она с удивлением смотрела на своего Якко и старалась себе растолковать: почему не пошел он танцевать с нею? Она была печальна и угрюма во весь вечер и на все вопросы Якко ничего не отвечала.

Между тем Федосья Кузьминишна положила во что бы то ни стало сбыть с рук эту проклятую чухонку, которая в людях срамит, а дома какие-то чудеса делает. Мы передадим тайный разговор между Федосьей Кузьминишной и Егором Петровичем в спальном комнате. Федосья Кузьминишна, как женщина тонкая, начала разговор стороною.

– Знаешь что, Егор Петрович, – сказала она, – ведь житье в Петербурге становится дорогонько...

– Да и я замечаю это, Федосья Кузьминишна, – да что делать? – так следует, в город все народ прибывает...

– А вот Анисья докладывала мне, что у нас расход прибывает: и масла, и хлеба, и солонины – всего не в пример больше выходит...

– Да отчего бы это так, Федосья Кузьминишна?..

– Ну, сам посуди, Егор Петрович, лишний человек в доме не шутка... сегодня, да завтра, да всякий день за столом, в комнату свеча... и мыло лишнее...

– Эку историю завела! Что тебя, Лиза-то, что ли, объедает? – Эх, матушка, уж на это, кажись, пожаловаться не можешь; ест, что твой цыпленок... не тем, Федосья Кузьминишна, наши деды разорялись.

– Это воля ваша, Егор Петрович, как сами рассудите, а мое дело сказать вам, что нехорошо...

– Что нехорошо?

– Да и в ассамблее вашей, что ли? Осрамила нас...

– Правда, нехорошо – да прошлое дело, Федосья Кузьминишна, сам государь про то знает и только что улыбнуться изволил...

– Ну, да одно ли это, и многое другое нехорошо.

– Ну да что ж еще?..

– Да так, – нехорошо – она, Бог с ней, чудн а я такая – вы знаете, шведки...

– Да Лиза не шведка...

– Ну, все равно, из шведской же земли...

– Ну, да что ж она такое?.. Ну, говори.

– Ну да что? Ведь вы рассердитесь; попросту вам скажу – она ведьма, колдует...

Егор Петрович расхохотался:

– Не вашего ума это дело, Федосья Кузьминишна, такие речи говорить... ну, что такое ведьма?

– Что делать, батюшка, глупешенька, совсем глупешенька, так век изжила, так и в могилу пойду; не понимаю я вашей премудрости, а сужу попросту: ведьма так ведьма. Послушайте-ка, что весь дом говорит.

– Ну, что еще болтают?..

– А вот что: намедни девушки смотрят, а Лизавета Ивановна пробирается в баню и хочет топить... вот девушки ей говорят: "Э, матушка, давно бы сказала, мы тебе, пожалуй, баню истопим. Истопили баню, пришли за нею, она было пошла, – как увидела, что в баню, то и руками и ногами – а? Как это по-вашему? По-нашему оттого, что ведьма..."

– Нету ведьм, Федосья Кузьминишна, это только старые девки болтают... просто дика еще, не обтерлась в чужих людях.

– Ну, а это что такое, скажу вам, Егор Петрович, что она день-то деньской напеваает себе под нос? – Уж не даром...

– Ну, да что напеваает? Песни; уж у них обычай такой, все, знай, курныкают...

– Ну хорошо, – а что ж это такое: девушки раз ночью слышат, что у нее шум в комнатке... смотрят в щелочку, она поет да прядает на полу, да колдует...

– Ну так, молодая девка дурачится...

– Вы все так толкуете, Егор Петрович, а это что? недавно чухна приехал к нам на двор с провиантом... она увидела, выскочила и прямо к нему на шею, и начали толковать по-своему...

– Эка мудрость – земляка увидела. Однако после договорим, Федосья Кузьминишна, уже скоро 6 часов; чем из пустого в порожнее пересыпать, да на бедную девку нападать, подай-ка мне епанчу – пора в канцелярию.

Федосья Кузьминишна исполнила приказание мужа, но оставшись одна, покачала головою, всплеснула руками и проговорила:

– Вот всегда-то так... бишь ты, из пустого в порожнее... бедную девку... ах, ты старый греховодник! Батюшки-светы, да, никак, она его околдовала!

В столовой между тем происходила другая сцена. Якко, проходя рано поутру мимо дома Зверева, не мог не зайти проведать семью, которая для него была второю отчизною.

Марья Егоровна прибирала завтрак: ее черные локоны, загнутые за уши, были прикрыты белым голландским чепчиком; полосатая ситцевая кофта обхватывала гибкую талию; рукава с манжетами, доходившие только до локтя, открывали полную упругую ручку; черные башмаки с красными каблуками, застегнутые оловянною пряжкой, стягивали стройную ножку. Заспанные глазки Марьи Егоровны были томны; то вспыхивали блестящими искрами, то покрывались прозрачною влагою: девические мечты, может быть, ночные грезы придавали лицу Марьи Егоровны задумчивость, которая обыкновенно исчезала в течение дня.

– Как вы сегодня к лицу одеты! – сказал Иван Иванович, целуя у ней руку.

– Вы шутите, – сказала Марья Егоровна, улыбаясь, – на мне домашнее платье, которое вы не раз уже видели.

Иван Иванович смешался; он совсем не то хотел сказать; душа его говорила: – Как вы хороши сегодня, Марья Егоровна, в вас сегодня что-то особенно привлекательное. Но такие фразы тогда не говорились девушкам и были бы сочтены неприличием. Чтоб переменить разговор, Иван Иванович спросил:

– А где все наши?

– Батюшка в канцелярии, матушка хлопчет по хозяйству...

Якко замолчал и стал рассматривать скатерть с большим любопытством: но когда Марья Егоровна отходила от стола, Якко взглядывал на прекрасный стан ее, и сильно брало его раздумье; он не мог не любоваться, и красотою Марьи Егоровны, и ее ловкостью, и любовью к порядку – "добрая жена! добрая хозяйка!" – эти слова невольно отдавались в его слухе. Вот Марья Егоровна придвинула стул к шкапу, чтоб поставить посуду на верхнюю полку; она проворно вскочила на стул, одна ее ножка уперлась в подушку, другая поднялась на воздух, и эта стройная ножка, в сером чулочке со стрелками, была в полной красоте своей. Сердце забилося у молодого человека, глаза его заблестали... он хотел что-то выговорить, но дверь отворилась и вошла Эльса; ее кофта была едва застегнута, белые, как лен, локоны рассыпались по белой, полуоткрытой груди, она была печальна, в глазах выражалось что-то полудикое; по инстинкту она поняла то чувство, с которым Якко смотрел на Марью Егоровну, и сердито отвернулась.

– Здравствуй, Эльса! – сказал Иван Иванович по-русски, подавая ей руку.

– An mujsta! – отвечала Эльса, надувши губки и отдергивая руку.

– Да скоро ли же ты выучишься по-русски?

– An mujsta! – повторила Эльса.

– Что с тобою, Эльса? – сказал Иван Иванович по-фински. – На кого ты сердишься? Разве тебя обидели?

– Что тебе до меня? – ты знай пляши с нею, вот твое дело.

– А, так ты сердишься, зачем я плясал с Марьею Егоровною? Что ж за беда? Пора тебе привыкнуть к здешним обычаям...

– По нашему обычаю, только пляшут с своею невестою...

– Растолкните Лизавете Ивановне, – прервала Марья Егоровна, лукаво поглядывая на Эльсу, – чтобы она не забывала шнуроваться; маменька сердится, а мы никак ей не можем растолковать, что это неприлично.

Якко передал эти слова Эльсе. Эльса всплеснула руками.

– Ах, Якко, как тебя околдовали вейнелейсы. Все, что они ни выдумают, тебе кажется хорошо, а все наше дурно. Ну зачем они меня стягивают тесемками? Зачем? Расскажи! Им хочется только, чтоб я не могла ни ходить, ни говорить, ни дышать – и ты то же толкуешь. Ну скажи же мне – зачем шнуроваться? Что, от этого лучше, что ли, я буду?

Якко думал, что отвечать на этот странный вопрос, а между тем невольно смотрел на свою прекрасную единоземку.

Правда, грудь ее была полураскрыта, но эта грудь была бела как снег; локоны в беспорядке рассыпались по ее плечам, но так она еще более ему нравилась; туфли едва были надеты, но тем виднее открывали ножку стройную и красивую. Странные мысли боролись в душе молодого человека.

Эльса продолжала:

– Вот Юссо, так похитрее тебя – его вейнелейсы не могут обмануть; послушайка, что он говорит.

– Какой Юссо?

– Ты не знаешь Юссо, сына Юхано? Ты всех своих позабыл, Якко, вейнелейсы совсем отбили у тебя память.

– Где же ты его видела?

– Его вейнелейсы заставили везти сюда разные клади – я его тотчас узнала из окошка...

– Что же он тебе такое рассказывал?

– О! Много, много! У Анны отелилась корова, Мари вышла замуж за Матти...

– Что же еще он тебе рассказывал?..

– Ты хочешь все знать? – сказала Эльса, хлопая в ладоши с насмешливым видом, – пожалуй, скажу. Он звал меня с собою домой.

– Звал с собою?

– Да! Он похитрее тебя, он говорит, что как ни лукавы вейнелейсы, а им несдобровать, рутцы хотят еще раз напустить на них море...

– Что за вздор, Эльса... да ведь это сказка...

– Да! сказка! – Юссо не то говорит; он толкует, что нам, бедным людям, не годится жить с вейнелейсами; он сказал еще, что набрал здесь много денег за масло – вейнелейсам Бог и масла не дает... – Поедем, говорил он, со мной, я на тебе женюсь, денег у меня много, круглый год будем есть чистый хлеб.

– И ты согласилась?

– Нет еще, – отвечала Эльса лукаво, – я сказала, что спрошусь об этом у брата.

Марья Егоровна, видя, что ею не занимаются, вышла из комнаты.

Якко задумался. На что ему было решиться? – Дождаться ли долгого, долгого образования полудикой Эльсы, подвергать ее всем неприятностям непривычной жизни или махнуть рукой и возвратить ее на родину. При мысли о родине сердце его билось невольно: Эльса, подруга детства, казалась еще прелестнее и расстаться с нею, расстаться навсегда – казалось ему ужасным. Эльса поняла действие своего рассказа; она захлопала в ладоши, прыгнула к Якко на колени, схватила его за голову, прижала к себе, свежая, атласистая грудь ее скользнула по лицу молодого человека, он вздрогнул и почти оттолкнул ее от себя.

Эльса заплакала. – Якко выбежал из комнаты.

– Он не хочет и целовать меня, – проговорила Эльса сквозь слезы, – о! это не даром, эта Марья приколдовала его; он с нею пляшет, он на нее так смотрит – хорошо, увидим... недаром старые люди меня учили...

С этими словами Эльса побежала в свою комнату – и дверь на крючок; через час она вышла и тихонько пробралась в комнату Марьи Егоровны; осмотрелась – видит: нет никого, поспешно приблизилась к постели и сунула что-то под перину.

Эльса обернулась, за нею машутся накрахмаленные лопасти чепчика, блещут глаза сквозь пару медных очков.

Из-под чепчика послышался грозный голос Анисьи-ключницы:

– Что ты это, матушка, здесь проказничаешь? – С сими словами старушка руку под перину и вынула оттуда маленький сверток; скорее к Федосье Кузьминишне – и началась потеха.

На общем совете с Анисьей и другими сенными девушками положено было раскрыть сверток. Раскрыли не без страха, не без приговорок – видят: две тряпочки, бумажка, уголек и глинка, все перетянуто накрест черною ниткою. Колдовство – нет ни малейшего сомнения.

За Эльсой – показывают – спрашивают – она лукаво смеется.

Уже поговаривали связать колдунью и представить в полицию, но, к счастью, возвратился Егор Петрович. Узнавши о причине суматохи, он наружно улыбнулся, но внутренне и сам приотрухнул: "кто ее знает?" – подумал он. Помолчавши с минуту, он сказал: что мы ее спрашиваем? ведь она нас не понимает и рассказать не может. Полагать должно так, сглупа; вот вечером придет Иван Иванович, пускай он ее расспросит, что и зачем она это делала.

– Хорошо, батюшка, – отвечала Федосья Кузьминишна, – вы и видите, да не верите; быть по-вашему, только до тех пор позвольте мне припереть ее на крюк. Не шутка, батюшка, ведь Марья Егоровна-то нам не чужая. – Егор Петрович промолчал.

К вечеру выпустили бедную затворницу. Было уже около семи часов вечера; на дворе морозило; в гостиной Зверева затопили огромную шведскую печку; заслонки были распахнуты; свет из устья багровым туманом проходил по комнате; тень от окошек, освещенных полною луною, резко обозначалась на торцевом полу; две нагоревшие свечи стояли на столе и колебались от движения воздуха; все эти роды освещения мешались между собою; отраженные ими причудливые тени мелькали на потолке, на широком деревянном резном карнизе и на стенах, обитых черною кожей, с светящимися бляхами.

За столом сидели: Зверев, его жена и Якко. Казалось, они только что кончили длинный, неприятный разговор, за которым последовало совершенное молчание. Наконец, двери отворились, и вошла, как преступница, бледная, трепещущая Эльса. Якко с важным видом показал ей на стул, стоявший против огня. Эльса не хотела садиться, но Якко грозным голосом подтвердил свое при-

казание, и Эльса повиновалась.

Она села на стул, сложила руки и устремила в устье неподвижный взор.

– Не пугайся, Эльса, – сказал Якко по-фински, тихим голосом, – тебе никто не сделает зла; но скажи мне откровенно, что значит этот сверток, который ты видишь здесь на столе? Какое твое было намерение? – Эльса ничего не отвечала и все пристальнее устремляла глаза в устье очага; лицо ее разгорелось; локоны повисли на глаза; лунный свет широкою полосой ложился на ее белое платье; она трепетала всем телом, как пифия на очарованном треножнике. – Отвечай же, – повторил Якко, устремив на Эльсу сердитые глаза.

– О чем ты спрашиваешь меня, Якко, – наконец сказала Эльса прерывающимся голосом, – сверток безделица... ребяческая шутка... я думала этим средством отучить тебя от этой Марии, которая хочет отнять тебя у меня... Но теперь не то... совсем не то... теперь... я все знаю, все вижу; теперь я сильна, и вы все... ничто... предо мною...

– Что ты говоришь, Эльса? – сказал Якко с видимым смятением, – ты не помнишь себя.

Эльса засмеялась странным хохотом.

– Иль ты не видишь, – продолжала она, – там... далеко... в середине пламени... алые палаты моей сестрицы... вот она... в венке из блестящих огней; она улыбается... она кивает мне головою... она сказывает, что я должна говорить тебе...

Тут Якко вспомнил слова пастора, хотел броситься к Эльсе и прекратить ее очарование; но любопытство и какая-то невидимая сила удержали его на стуле.

Эльса продолжала:

– Я еще была ребенком, когда старый Руси брал меня к себе на колени и садился против огня; он накрывал руками мою голову и, показывая на устье печи, говорил: "Эльса, Эльса, смотри свою сестрицу". Тогда я, неразумная, боялась, хотела вырваться из рук старика, но невольно глаза мои устремлялись на огонь и скоро уже не могли оторваться; скоро в глубине, посреди раскаленных угольев, я видела, как теперь вижу, великолепные палаты; там столбы из живого пламени выются, тянутся в небо и не тухнут. От них сыплются багряные искры и блестят на белой огнепальной стене: посреди тех палат мне являлось лицо ребенка, совершенно похожего на меня; оно улыбалось, манило меня к себе, исчезало в потоках пламени и снова появлялось с тою же улыбкою. – "Сестрица, сестрица, – говорила она мне, – когда же мы с тобой соединимся?" И сердце мое рвалось к прекрасному ребенку, и он все улыбался и манил меня. Стоило мне подумать о чем-нибудь или старый Руси спрашивал меня, и с дальней стены срывалась пелена, и я видела все, что на земле и под землею, и горы, и леса, и пропасти водные, и людей, и слышала, что они говорили, видела, что они делали. "Беги отсюда, – говорит мне теперь сестрица, – здесь развлекут тебя, удалят тебя от меня, погасят, ты отвыкнешь понимать язык наш! На берегах Вуоксы люди не совратят тебя, там сосны и утесы безмолвны, луна светит своей живительной силой и духотворит грубое тело; там в лучах луны, в потоках пламени мы сольемся веселым хороводом, облетим всю землю, и вся земля для нас будет светла и прозрачна". Слышишь, Якко, что говорит сестрица; тебя одного не достает нам; и тебя, неразумный, оживляла могучая сила старого Руси; ты наш, Якко! ты мой и ничто не разлучит меня с тобою; забудешь обо мне – вспомнишь в горькую минуту. Оставь этих людей, Якко; в наших живоогненных чертогах светло и радостно, там встретимся мы и в одну пламенную нить сольемся с тобою. Правда, еще не пришло мое время: скоро ли? спрашиваю у моей чудной сестры. – "Не скоро, – отвечает она, – все вырастает по степеням, как дерево из зерна. Сперва на земле, потом под землею, а потом... над землею, Эльса, и нет границ нашей силе и нашему блаженству!"

Якко не дал ей продолжать.

– Тут происходит что-то странное, – сказал он Егору Петровичу, – она вне себя; я вам советую послать за лекарем.

– Да что ж она вам сказала? – спрашивал Егор Петрович.

– Ничего, – отвечал Якко, – вы не должны ее бояться; она больна, на нее находит... Пошлите за доктором, повторяю вам, пусть он ее увидит в этом положении.

– Пожалуй, – отвечал Егор Петрович. – Иван Христианович недалеко от нас живет и по вечерам бывает дома. – Послали за лекарем, а Эльса все сидела против огня, то смеялась, то говори-

ла непонятные речи, то складывала руки, как будто умаливая кого о чем. Якко с любопытством ее рассматривал, положив, во что б ни стало, дожидаться разрешения этой загадки.

Через четверть часа пришел Иван Христианович, чопорный немец, в коричневом кафтане, с укладными пуговицами; в руках у него была трость с костяным набалдашником; он очень важно постукивал ею, поплеывая со стороны на сторону, ибо имел привычку беспрестанно жевать табак, что тогда почиталось универсальным лекарством от всех болезней.

– Где ж больная? – спросил он по-немецки.

– Меня почитают больною, – отвечала Эльса на немецком языке. Удивление Якко было невыразимо. Он знал, что в обыкновенном состоянии Эльса не знала ни слова по-немецки.

– Что же ты чувствуешь, мое милое дитя? – сказал Иван Христианович.

– Добрый лекарь, неразумный лекарь, ты хочешь лечить меня. Знаешь ли ты, кого ты хочешь лечить? Умеешь ли ты лечить огнем и пламенем? Смотри, сестрица смеется над тобою, добрый лекарь, неразумный лекарь.

Иван Христианович слушал, слушал ее с удивлением – нюхал табак и ничего не понимал.

Между тем огонь гас мало-помалу в очаге, луна сокрылась за ближним домом: с тем вместе уменьшалась говорливость Эльсы. Наконец она как будто проснулась.

– Где я? Что со мною? – сказала она по-фински. Доктор щупал у ней пульс, Зверев и Якко смотрели на нее с участием. Между тем Якко рассказал лекарю все происшедшее.

Нахмутив брови и усердно нюхая табак, Иван Христианович проговорил:

– Странное дело, но бывали такие примеры, от действия жара нервные духи поднимаются и действуют на головной мозг; а оттого мозг приходит в нервное состояние, так и Цельзиус пишет; впрочем, пироманция, или гадание огнем, была известна и древним и производила у них подобные явления; странно, что она и донныне сохранилась. Но бояться нечего! Уложите больную в постель, я вам пришлю из дома одно славное лекарство, которое, как доказывает наш славный голландский врач Фан Андер⁸, помогает от всех болезней, а именно: опиума. Давайте ей каждый день по четыре капли, да поите ее больше кофеем, и вы увидите, что всю блажь с нее как рукой снимет.

На другой, на третий день бедная Эльса в самом деле была больна от действия универсального лекарства, на четвертый она уж почти не вставала с кресел; то делалось у ней волнение в крови, то сонливость. Бедное дитя природы ничего не понимала, что с нею делают: зачем держат ее взаперти, зачем вливают в нее какое-то снадобье, которого действие, однако же, казалось ей довольно приятным; но часто она забывала все происходящее, и все ее внимание обращалось к герою финских преданий, славному Вейнемейнену. Она вспоминала, как он из щучьих ребер сделал себе кантелу, как не знал, откуда взять колки и волос на струны, и в забытии напевала:

Рос в поляне дуб высокий:
Ветви ровные носил он
И по яблоку на ветви
И на яблоке по шару
Золотому, а на шаре
По кукушке голосистой.
И кукушка куковала.
Долу золото струилось,
Серебро лилось из клева,
Вниз на холм золоторебрый,
На серебряную гору:
Вот отколь винты для арфы
И колки для струн взялися.
Из чего же струн добуду.
Где волос найти мне конских?

⁸ Диететические методы голландского врача Бонтекопа обыкновенно состояли: в постоянном курении табака, питии чая или кофия и в употреблении опиума при малейшем нездоровьи. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

Вот, в проталине, он слышит,
Плачет девушка в долине,
Плачет – только вполовину,
Вполовину веселится,
Пеньем вечер сокращает
До заката, в ожиданьи.
Что найдет она супруга,
Что жених ее обнимет.
Старый, славный Вейнемейнен
Слышит жалобу девицы,
Ропот милого дитяти.
Он заводит речь и молвит:
"Подари мне дар, девица!
С головы один дай локон.
Пять волос мне поднеси ты,
Дай шестой еще вдобавок.
Чтоб у арфы были струны.
Чтобы звуки получило
Вечно юное веселье".
И дарит ему девица
С головы прекрасный локон,
Пять волос еще подносит,
Подает шестой вдобавок.
Вот отколь у арфы струны,
У веселья звуки взялись.⁹
Но вдруг голос Эльсы возвышается; глаза блистают, и она с гордостью напевает:
Так играет Вейнемейнен:
Мощный звон летит от арфы,
Долы всходят, выси никнут,
Никнут выпретенные земли.
Земли низменные всходят,
Горы твердые трепещут,
Откликаются утесы,
Жнивы выются в пляске, камни
Расседаются на бреге,
Сосны зыблются в восторге.
Сладкий звон далеко слышен,
Слышен он в шести селеньях,
Оглашает семь приходов,
Птицы стаями густыми
Прилетают и теснятся
Вкруг героя-песнопевца.
Суомийской арфы сладость
Внял орел в гнезде высоком,
И птенцов позабывая,
В незнакомый край несется,
Чтобы кантелу услышать.
Чтоб насытиться восторгом.
Царь лесок с косматым строем

⁹ Эта и последующие финские народные песни взяты, с некоторыми пропусками, из Гротова перевода (см. «Современник», 1840). (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

Пляшет мирно той порою,
А наш старый Вейнемейнен
Восхитительно играет,
Тоны дивные выводит.
Как играл в сосновом доме,
Откликался кров высокий,
Окна в радости дрожали.
Пол звенел, мощный костью,
Пели своды золотые.
Проходил ли он меж сосен,
Шел ли меж высоких елей –
Сосны низко преклонялись,
Ели гнулись приветно,
Шишки падали на землю,
Вкруг корней ложились иглы.
Углублялся ли он в рощи,
Рощи радовались громко;
По лугам ли проходил он, –
У цветов вскрывались чаши,
Долу стебли поникали.

Но часто слова песни сближались с ее собственным положением, и она жалобным напевом отвечала Вейнемейнену, когда он спрашивает плакучую развесистую березку, о чем она плачет:

Про меня иной толкует,
А иной тому и верит,
Будто в радости живу я,
Будто вечно веселюся.
Оттого, что я, бедняжка,
Весела кажусь и в горе,
Редко жалуясь на муки,
У меня, у горемыки,
У страдалицы, ведь часто
Летом рвет пастух одежду;
У меня, у горемыки,
У страдалицы, ведь часто
На печальном здешнем месте,
Среди лугов широких
Ветви, листья отнимают,
Ствол срубают на пожар,
На дрова нещадно колют.
Были люди и точили
Топоры свои на гибель
Головы моей победной.
Оттого весь век горюю,
В одиночестве я плачу,
Что беспомощна, забыта,
Беззащитна, я осталась
Здесь для встречи непогоды,
Как зима приходит злая.

И к концу песни Эльса начинала плакать и плакала горько. Так заставлял ее Якко, и все его старание утешить, вразумить ее было тщетно. Странная привязанность к родине еще более усилилась в Эльсе ее затворничеством. Якко не знал, что и делать: в продолжение трех месяцев образование Эльсы нимало не подвинулось; ее понятия не развивались; все народные предрассудки пре-

бывали во всей силе; оставить ее в доме Зверева – не было возможности; жениться на ней – одна эта мысль обдавала Якко холодом; он невольно сравнивал свое состояние с прекрасною машиною, в которой было только одно колесо неудачно сделанное, но которое нарушало порядок действия всех других колес; он не мог не сознаться, что Эльса была для него помехою в жизни; его внутреннее неудовольствие отражалось в его словах, а Эльса оттого еще пуще горевала. А между тем Эльса была прекрасна, между тем в ее глазах светилось ему родное небо, баснословный мир детства, и Якко по-прежнему уходил домой с отчаянием в сердце.

Наступил ноябрь месяц. В продолжение нескольких дней лил сильный дождь, и морской ветер выгонял Неву из берегов. Однажды утром Якко сидел в уединенной комнатке, отведенной ему в адмиралтействе, и, углубившись в работу, не замечал, что вокруг него происходило; между тем весь город был в волнении, вода возвысилась непомерно, жители прибрежных частей города перебирали свои пожитки на чердаки, а в некоторых местах уже взбирались и на крыши; высокой гранитной набережной еще не существовало; ныне незамечаемая прибыль воды в 1722 году была истинным бедствием для города; Якко взглянул в окошко: адмиралтейская площадь обратилась в море, по ней неслись лодки, бревна, крыши, гробы. Дом Зверева находился в части города, наиболее подверженной наводнению; мысль об участи, ожидавшей это семейство, поразила Якко; но как помочь ему, как дойти до него? Волны уже били в верхнее звено нижних этажей! В отчаянии ломая руки, смотрел Якко на разлив Невы и приискивал средство выйти из дома чрез окошко. В эту минуту он смотрит: небольшой катер с переломленною мачтою несется по Неве; два матроса тщетно стараются вытащить обломок мачты, погружившейся в воду, или перерубить веревки; уже катер перегнуло на одну сторону; на корме стоит человек высокого роста; черные его волосы разметаны по плечам; одною рукою он стиснул руль, другою ободряет потерявшихся матросов, но – еще минута, и катер должен опрокинуться. Якко смотрит, не верит глазам своим – это сам государь!

При этом виде молодой финн забывает всю опасность. Сильною рукою он выбивает стекольную раму и бросается вон из окошка; в это время крепко связанный плот прибило к стене дома; от движения плота Якко сильно ударился головою об стену и почти в беспамятстве ухватился за скользкие бревна; в таком положении его застали люди, находившиеся на одной из адмиралтейских лодок.

Едва Якко пришел в чувство – первый его вопрос был о государе. "Пересел на другой катер", – отвечали ему; тогда Якко вспомнил снова о своем семействе, и лодка быстро повернула по направлению к дому Зверева. Подъезжая к нему, Якко увидел, что вода выливалась уже из окошек, – во всем доме не было и признака живого человека. Скорбь сжала сердце молодого финна; погибли последние люди, которых он мог называть родными. Но скоро внимание его было обращено на большой катер, который старался на веслах приблизиться к дому; смотрит, в катере: Зверев, жена его, все домашние – катер ближе, ближе, Якко различает всех в лицо и не видит – лишь одной Эльсы.

– А Эльса? – вскричал он в отчаянии.

– Не знаем! – печально отвечал ему Зверев.

Молодой человек упал без чувств в лодку.

К вечеру вода сбыла. Жители мало-помалу возвращались в дома, стараясь изгладить следы наводнения, и скоро в юной, отважной столице все пришло в обыкновенный порядок.

В спальне Зверева лежал наш Якко с распухнувшей головою и в припадке сильной горячки. Он метался на кровати, то произносил непонятные слова, то призывал домашних, Эльсу. Так прошли долгие дни. Наконец Якко пришел в себя, и первое лицо, которое узнала его ослабевшая память, была Марья Егоровна; она сидела возле кровати и с участием смотрела на больного.

– Где я? Что со мною? – спросил Якко.

– У людей, которые вас любят, – отвечал тихий голос.

Все возобновилось в памяти молодого человека; он взял Марию Егоровну за руку и крепко прижал ее к губам; Марья Егоровна опустила глазки и покраснелась.

Вошла в комнату Федосья Кузьминишна.

– Что случилось с Эльсой? – спросил Якко.

– А – слава Богу! Очнулся, батюшка – ведь три недели был в забытьи, легко ли дело; ну что твоя сестрица, – живехонька, батюшка – уехала к своим с каким-то чухною; уже мало ли Егор Петрович хлопотал, – насилу проведали, куда она запропастилась, на воск какой-то, что ли?

Действительно, во время наводнения, когда водою уже наполнился двор и Егор Петрович сбирался с домашними сесть на подъехавший с улицы адмиралтейский катер, в хлопотах забыли об Эльсе; в это время она была в своей комнате, выходявшей окнами во двор и запертой по благо-разумному распоряжению Федосьи Кузьминишны; бедная затворница с ужасом смотрела на прибывающую ежеминутно воду: – "все кончилось, – говорила она, – рутцы напустили на вейнелейсов море – все должно погибнуть; нет спасения" – и с семи словами она сложила руки, села против окошка и хладнокровно глядела, как вода уже приподнимала крышу низкого амбара. Вдруг смотрит, на дворе является лодка, в лодке знакомое лицо. Юссо, Юссо! – вскричала Эльса, отворив широкую форточку, – я здесь, я здесь! спаси меня!"

И ловкий финн приблизился к окошку, уцепился за ставни, помог Эльсе пробраться на свой челнок, усадил ее, ударил веслами, и скоро челнок исчез из вида. Между тем, садясь в катер, старик Зверев вспомнил об Эльсе; скорее к ней в комнату – нет ее, бегали по всему лому, всходили на чердаки – пропала Эльса; минуты были дороги, управляющий катером говорил, что он должен еще многим домам подать помощь – и Егора Петровича почти силою втащили в катер.

Якко с каждым днем оправлялся. Однажды, когда Марья Егоровна вошла к нему в комнату, он сказал:

– Вы уже забыли обо мне, Марья Егоровна, так редко навещаете меня.

– Когда вы были опасны, – отвечала девушка, – я, видит Бог, не отходила от вас; но теперь вы, слава Богу, уже начинаете выздоравливать, и мне одной с вами оставаться неприлично.

– Нет ли средства помочь этому горю? – сказал улыбаясь Иван Иванович.

– Какое же? я не знаю.

– Очень простое – быть моею женою! Что скажете вы на это, Марья Егоровна?

Марья Егоровна проговорила обыкновенное в таких случаях: "Я от себя не завишу", и молодой человек нежно поцеловал ее руку.

Со стариками было переговорено; они дали свое благословение. «Но прежде свадьбы мне остается еще одно дело, – сказал Якко Егору Петровичу, – я хочу устроить Эльсу». – Доброе дело, – отвечал старик, – так и следует.

Через несколько дней сани мчали молодого финна к его родимому берегу. Верст за сорок до Иматы он уже стал спрашивать по хижинам об Эльсе, внучке старого Руси; но жители ему отвечали, что Иматра от них далеко, далеко и что они никого там не знают. Верст за двадцать рассказы были другие, "как не знать Эльсы, – говорили финны, – такой знахарки у нас уже давно не бывало; все знает, что ни спроси; заболит ли человек, али какое животное, придешь к ней, поклонись – с живой руки снимет. Зато скоро счастлива будет; Юссо говорит, что непременно на ней женится".

Быстро мчались широкие сани по глубокому снегу, туман лежал на равнинах, зеленые ели тихо качались над сугробами, месяц мелькал из облаков и бледными его лучами прорезывались слои тумана – туман расседался, пропускал светлую полосу и снова заволакивал придорожные утесы. Грустно было на душе Якко – ехал он по земле родной, которая была уже для него чужая; иногда воображению его представлялся Петербург со своею деятельною, просвещенною жизнью, и снова невольно взор финна обращался на печальную картину родимого края. Недалеко от Иматы Якко заметил в избушке, стоявшей уединенно посреди скал, необыкновенное освещение; частью любопытство, частью какое-то невольное чувство заставили его остановиться; Якко вышел из саней, – к избушке, смотрит в волоковое окно – там какой-то праздник – свадьба или что-то подобное. Рассмотрев попристальнее, Якко скоро заметил в избушке Эльсу; она в финском платье, довольно богатом, сидела на почетном месте, все обращались с нею с величайшим уважением, потчевали ее и кланялись. Эльса была весела и довольна и смеясь рассказывала, как рутцы напустили на вейнелейсов море и хотели утопить ее и как она с Юссо обманула их.

Якко задумался. «Здесь она весела, уважаема всеми, говорит своим языком, она свободна, счастлива; там она печальна, связана во всех движениях, предмет насмешек и ненависти. Зачем я отниму у ней ее счастье в надежде другого, ей непонятного и, может быть, несбыточного?»

В это время Эльса встала, распрощалась с хозяевами, – почетнейшие пошли провожать ее, – толпа прошла мимо Якко, – он видел Эльсу в двух шагах от себя, – но промолчал и только печально смотрел вслед ей, пока она не скрылась в тумане. Тогда Якко вошел в хижину и, отдавая хозяину кошелек с деньгами, сказал: "Скажите Эльсе, внучке старого Руси, что Якко ей посылает это на свадьбу". – Якко знал честность своих единоплеменников и был уверен, что кошелек дойдет по назначению. Пока хозяева удивлялись такому несметному богатству, Якко вышел из хижины, – взглянул еще раз на родные утесы:

– Последняя нить порвана, – сказал он самому себе, – земля моя – мне чужая. Прощай же, Суомия – прощай навсегда! И здравствуй, Россия, моя отчизна!

Молодой финн закрыл глаза рукою, бросился в сани, – колокольчик зазвенел!

На берегах Вуоксы до сих пор сохраняется предание о девушке, которую богатый барин увез было в Петербург и которая убежала от богатства из любви к своей лачужке; рассказывают и о том, как в старину незнакомые люди, или духи, в богатом платье, вдруг являлись в хижинах и оставляли на столе деньги, прося их отдать Эльсе, старой колдунье.

II ЭЛЬСА

По с в. графу В. А. Соллогубу

*Errant, erraverunt ac errabunt, eo quod proprium agens non posuerunt Philosophi.
Pontanns in «Theatvo Akheiuico»¹⁰*

Мы сидели перед огнем; вдруг отец ударил меня так больно, что я заплакал. «Не плачь, – сказал отец, – ты ни в чем не провинился; сию минуту Саламандра появилась в огне; я тебя ударил, чтоб ты не забыл о сем и передал это событие своим детям».

Подлинные Записки Бенвенуто Челлини

В Москве жил-был у меня дядюшка, человек немолодой, но с умом, сердцем и образованностью, – а в этих трех вещах, говорят, скрывается секрет никогда не стариться. Дядюшка не выживал из ума, потому что не выживал из людей; три поколения прошли мимо его, и он понимал язык каждого; новизна его не пугала, потому что ничто не было для него ново; постоянно следя за чудною жизнью науки, он привык видеть естественное развитие этого огромного дерева, где беспрестанно из открытия являлось открытие, из наблюдения наблюдение, из мысли вырастала другая мысль, которая, в свою очередь, выводила из земли первоначальную. Оттого разговор его всегда был привлекателен, хотя странен; в нем не было этих суждений, давно вымоченных и выдавленных, как старая свекловица на сахарном заводе; в нем не было этих фраз, которые у иных людей вас ожидают в том или другом случае, как надпись над банкою в кунсткамере или как припев водевильного куплета; но со многими из его понятий нельзя было согласиться: он утверждал, наприм., что знать много, очень много совсем немудрено; что в старину люди были хуже нас, но гораздо больше нас знали и что, наприм., никогда знания человеческие не достигали до такой обширности, как перед потопом!.. Надобно к сему прибавить, что дядя в молодости много путешествовал и – тогда была на это мода – перебивал членом всех возможных мистических обществ: он и варил золото, и вызывал духов, прыгал и заставлял прыгать на восковые гвозди или через ковер, игравший роль бездонной пропасти, и проч. и проч. Много чудного сохранилось в его памяти об этих предметах; но, говоря о них, он употреблял какой-то странный способ выражения, вместе и

¹⁰ Заблуждались, заблуждаются и будут заблуждаться, потому что философы не установили, что есть собственно движущая сила. *Иоанн Понтанус в «Алхимическом театре» (лат.).*

важный и насмешливый, так что нельзя, бывало, угадать, в самом ли деле дядя верил своим словам или смеялся над ними. Когда мы приставали к нему и требовали настоятельно, чтоб сказал, шутит он или говорит правду, и упрашивали его бросить двусмысленный тон, дядя улыбался с простодушным лукавством и замечал, что без этого тона нельзя обойтись, говоря о многих вещах в этом мире, а особенно о вещах не совсем этого мира.

Однажды я застал старика поутру за чашкою кофе.

– Что это значит, дядюшка? Вы прежде, кажется, поутру не кушали кофе?

– Да что мне делать с вашими учеными и докторами? Вот твердили мне, что две чашки кофе в день поутру и после обеда для меня слишком много: я отказался от утренней чашки и спокойно дожидался моей послеобеденной; а вот недавно лукавый дернул одного немца написать целую книгу (с этими словами дядюшка ударил рукою по латинскому *in-quarto*) в доказательство, что нет ничего вреднее, как кофе после обеда, и так убедил меня, злодей, что я с той же минуты пожаловал послеобеденную чашку в утреннюю.

– А между тем на вакансию послеобеденной поступит другая, дядюшка, не так ли?

Дядя махнул рукою.

– Вы, молодые люди, никогда не верите нам, старикам. Вот ты, я чаю, не поверишь и тому, напирим., что может быть шум и крик в доме без всякой видимой причины?

– Полуверю...

– Половина ни в чем никуда не годится; все в природе есть целость – не так ли... как тебя, шеллингист или гогелист?

– И то и другое, а может быть, ни то, ни другое...

– Что? что? Сомнение? Скептицизм?.. какая старина! Но в этом случае, сделай милость, будь скептиком, ибо что я говорю, то правда. Ко мне сию минуту приходил хозяин дома и рассказал то, что, впрочем, я давно знаю. Да! я знаю этот дом уже лет сорок; он в мое время принадлежал князю А., с которым мы были дружны в молодости. Тогда еще дворяне жили по-боярски: в доме на каждом шагу видно было, что у хозяина были отец, дед, прадед и предки, чего не заметишь в нынешних наемных квартирах, где наши исторические имена так скучно проживают и проживаются...

– Дядюшка! Это мне не в бровь, а прямо в глаз... – Знаю, знаю, новое поколение!..

Отцы наши жили небрежно – они не подорожили ни вашим именем, ни здоровьем; я и не вины вас: вы очищаете грехи отцовские. Но в мое время не так было: дед нынешнего наследника тридцать лет жил безвыездно в своем московском боярском доме; им кормился целый околодок; его именем называлась целая улица, ибо он в точности исполнял боярскую должность: делал добро не считая и забывая, – а с его легкой и щедрой руки поднялось несколько купцов, которых дети теперь миллионеры. В его всегда развязанном кошельке черпал отец, отдававший сына в училище, промышленник, заводивший ткацкий стан; по милости этого кошелька образовались несколько хороших живописцев в академии, целый оркестр музыкантов... Впрочем, тогда так делали многие, и, поверь самовидцу, что нынешнему богатству московского среднего класса и разрастающейся промышленности первое начало было положено тогдашнею боярскою даровитостью, которая, однако ж, умела не проживаться. Я часто бывал у князя; еще тогда, т. е. лет за сорок, он показывал мне комнату, в которой иногда по ночам слышен был странный шум, похожий на вопли; я даже нарочно ночевал несколько дней сряду в княжеском доме и сам два раза слышал этот шум. Едва мы отворяли дверь – все утихало; комната была пуста, и все на своем месте. В эту комнату призываемы были и ученые, и колдуны, и заговорщики – ничто не помогло и ничто ничего не объяснило. С тех пор мне было время забыть об этом доме; но на днях последний наследник продал заочно отцовский дом здешнему, мне знакомому купцу, который в боярских палатах хочет завести какую-то прядильную фабрику; третьего дня он пришел ко мне и, рассказывая о выгодах своей покупки (ибо я его приучил меня не обманывать), заметил, что одно только худо. – Что же такое? – спросил я. – Да так, – отвечал он, почесываясь и улыбаясь, – как мы спроста говорим, купил я дом-то с домовыми. – Как с домовыми? – Да так, батюшка; едва мы переселились в него, как ночью услышали, кто-то в зале вопит: мы подумали, что там кто остался из рабочих; пришли – все тихо, а в покое пустехонько. На другую ночь – то же и на третью ночь то же: завопит, завопит, да вдруг и

стихнет, а там опять; этак бывает раза два-три в ночь, так что ужас на всех навело. Не знаете ли, батюшка, какого средства?.. Я поехал с купцом в его новый дом и без труда узнал ту самую комнату, в которой я делал свои наблюдения еще при покойном князе, – в ней не было никакой перемены.

– Что же вы присоветовали бедному купцу? – спросил я у дядюшки.

– Я присоветовал ему поставить в этой огромной комнате паровую машину, уверив его, что она имеет особенное свойство выгонять домовых. Но пока еще комната не переделана, не хочешь ли ты, господин физик, посмотреть ее и по новым теориям объяснить это странное явление? ведь вы нынче беретесь все объяснять!

– Нет, мы нынче беремся ничего не объяснять... Мы утверждаем, что всякая вещь есть, потому что она есть...

– Это очень полезно для хода наук, благоразумно и избавляет от труда искать и забираться вдаль...

– Однако ж, комнату посмотреть любопытно...

– Хорошо, – сказал дядюшка, – карету! Только уверься, что все это не мечта воображения; что я, человек хладнокровный, слышал эти вопли собственными ушами. Впрочем, нельзя не поверить и купцу.

Когда мы вошли в старобоярский дом, я с грустью посмотрел на княжеские гербы, которые щедро рассыпаны были по стенам; на ряды портретов фамилии, которой начало терялось в баснословных временах нашей истории; на старинные хрустальные люстры, которыми освещались боярские пиры, открытые для всех мимоходящих; на кабинет князя, с его огромными креслами, где он, может быть, думал, на какое новое добро бросить свое золото – и сердце мое сжалось при мысли, что грубая механическая работа заступит место высоких нравственных деяний. Дядя молчал, но, кажется, думал то же, а словоохотливый хозяин еще докучал нам рассказами: "Здесь будет сушильня, здесь чесальня, здесь белильня, в кабинете складочная для хлама, и пр. т. п.". Ситец и набойка! Стоите ли вы этого? Под вашими станами исчезает память о древнем добре наших предков, исчезает история! В этих размышлениях мы совсем позабыли предмет нашего посещения. Наконец хозяин растворил дверь в огромную залу, освещенную сверху: "Вот здесь, по совету вашему, батюшка, поставлю паровик; оно и очень удобно. Вот здесь-то"... хозяин сделал значительную мину и перекрестился.

Я осмотрел со вниманием эту странную комнату и наконец сказал дядюшке:

– Это не комната, а духовой инструмент.

– Вот что! – сказал дядя, насмешливо улыбаясь, – сделай милость, объясни, да пояснее. Ведь нынче вы гоняетесь за ясностью, – подумаешь в самом деле, что есть что-нибудь ясное для человека на сем свете! Объясни, объясни.

– Объяснить трудно, но догадываться можно. Я не шучу. В самом деле, эта комната похожа на духовой инструмент. Посмотрите на эту длинную галерею, которая, как труба, примыкает к этой зале: эта зала играет роль раструба валторны, а в самой зале взгляните на свод, сделанный в потолке: этот свод – отрезок конуса, на этот свод рамы окошек опускаются в виде отрезка октаэдра...

– Пощади, пощади! – вскричал дядя, – если не меня, то хоть по крайней мере эту невинность! (С этими словами он указал мне хозяина дома, который, выпучив глаза, слушал меня со всевозможным вниманием и притакивал.) Вы, батюшка Пантелей Артамонович, не дивитесь: мой племянник мастер заговаривать; а вы знаете, в "заговорах" бывают невесть какие слова: и конусы, и октаэдры...

– Понимаем, понимаем, батюшка, – отвечал хозяин.

– Какое же заключение? – спросил меня дядя.

– А такое, что всякий звук в этой галерее, которая построена сводом, проходя в эту залу, должен удесятериться. Теперь вообразите, что этот звук попадет в тон этого свода – тогда звук наверное усилится всотеро; прибавьте к этому эхо, производимое наклоненными рамами, и тогда уверитесь, что писк какой-нибудь крысы – в этом акустическом микроскопе покажется похожим на вопль человека...

– Совершенно справедливо, – заметил дядя, – только ты, человек девятнадцатого века, должен доказать слова свои опытом...

Я пошел в галерею, шаркал, пел, свистал – все эти звуки раздавались громко в галерее, но в зале ничего подобного воплю не делалось. Дядя улыбался; хозяин дома смотрел на все это с удивлением, не зная, что перед ним происходит, шутка или дело.

Я измучился, ходя по галерее.

– Ну, что скажешь, господин ученый? – сказал мне дядя по-французски.

– Скажу то, что я вам верю, верю и хозяину дома, но...

– Но тебе хочется самому испытать, не обманываем ли мы тебя?..

– Почти так, дядюшка; опыт будет чище, как говорят химики.

– Если за тем дело стало, то изволь! Вот, Пантелей Артамонович, – продолжал дядя, обращаясь к хозяину дома, – мой дока говорит, что ему стоит провести у вас одну ночь, так он разом выведет домовых... у него есть такое зелье.

Хозяин кланялся и благодарил.

– А чтоб тебе не так было страшно, – прибавил дядя, – господин философ, я у тебя буду для компании.

Вечером мы явились на сторожку. Нам отвели маленькую комнату возле двери очарованной залы. Я принял все возможные предосторожности, осмотрел все прилежащие комнаты, запер все двери, везде зажег множество свечей, а из кармана вынул несколько номеров политических французских газет. Дядя был сумрачнее обыкновенного.

– Это что такое? – спросил он, показывая на газеты.

– Это мое зелье, – отвечал я, – то зелье, о котором вы говорили хозяину дома.

– Подлинно зелье, – возразил дядя, – и даже очень действительное; ничто столько не удаляет человека от внутренней, таинственной, настоящей его жизни, ничто его столько не делает глухим и немым, как картина этих мелких страстишек, мелких преступлений, которая называется политическим миром...

– Что делать? человек принужден жить в этом мире...

– То есть, хочет жить. Его скотинке очень нравится переливать из пустого в порожнее и уверять себя, что занимается чем-то очень важным и дельным. Ей по плечу все эти маленькие хитрости, все эти маленькие подлости для маленьких целей. Не знают эти господа, как они портят воздух, которым мы дышим!

– Портят воздух?

– Да еще как!

Я засмеялся.

– Любопытно было бы исследовать, – сказал я, – какое химическое изменение производят газеты в воздухе...

– Исследуй лучше, господин ученый, отчего пылинки мускуса наполняют своим запахом целую комнату. Ты, верно, слышал, что императрица Жозефина очень любила мускус. Недавно вошли в комнату, которую она занимала тому лет тридцать; в течение того времени эту комнату и мыли, и проветривали, и мебели в ней переменили – что же? Запах мускуса в ней все-таки до сих пор остался.

– Об этом было во всех журналах; но это ничего не доказывает, известна делимость мускуса...

– Известна? – повторил дядя, захохотав. – Если так, то поздравляю. А известно ли тебе, почему ты не войдешь в комнату больного заразительною болезнью?

– Без сомнения! потому что от испарений, от дыхания больного составляется болезненная, заразительная атмосфера...

– Болезненная атмосфера! А ты думаешь, дитя, что та сила, которая в тысячу крат сильнее телесного дыхания и материальной делимости, сила преступной мысли, преступного чувства, преступного слова или дела не производит вокруг себя болезненной, тлетворной атмосферы? Скажи, неужели ты не замечал на себе, что ты легче дышишь в присутствии доброго человека, нервы твои успокаиваются, как бы благовонный елей пролился на них, голова светлее, сердце бьется ровно и

весело, и, напротив, невольно дух занимает в присутствии подлеца, что-то тяготит тебя, давит; мысли сжаты, сердце бьется тоскливо, ты боишься устремить свои глаза против такого человека, как будто стыдишься за него или боишься, чтоб он своим взором не прожег твоей внутренности?.. Инстинкт тебя не обманывает! Верь, молодой человек, что вокруг каждой мысли, каждого чувства, каждого слова и дела образуется очарованный круг, которому невольно подчиняются попавшие в него менее мощные мысли, чувства и дела; эта истина современна миру; грубая эмблема ее сохранилась в тех очарованных кругах, которыми очерчивают себя сказочные волхвы.

– Все это может быть очень справедливо, если может быть доказано.

– Доказано, доказано! – повторил дядя с сердцем. – Да имеете ли вы способность доказывать? Что у вас доказано?..

– Очень немного, но по крайней мере в эту минуту доказано, например, то, что эта свеча стоит на столе, потому что я ее вижу...

Дядя захохотал.

– Видишь? Видишь? А по какому праву ты видишь? По какому праву ты думаешь, что ты видишь? Кто сказал тебе, что ты видишь? Кто сказал тебе, что перед тобою свеча? Я, напротив, уверяю тебя, что не свеча теперь перед тобою; докажи мне противное.

Я захохотал в свою очередь.

– А я вас уверяю, что теперь на луне дают большой концерт, на который собрались все лунные жители; докажите мне противное.

– Так! – вскричал дядя. – Вот ваша логика XIX-го века! Дальше ее вы ничего не видите. Ты, разумеется, прав в отношении к ней, но она-то не права в отношении ко мне. Смейся, смейся, господин философ, но достоверно то, что есть места, к которым как бы привязано все прошедшее, на которых таинственными буквами начертаны для людей, отдаленных от нас столетиями, их мысли, их воля... Не смейся; мне также на днях довелось посмеяться над вашими учеными, которые прокаливали и вымачивали намагнетизированные вещи и потом очень были удивлены, что, несмотря на все их проделки, эти вещи одним прикосновением наводили магнетический сон на сомнамбулов... Материалисты! Хотели прокалить и вымочить волю магнетизера! Вам надобны факты? Хорошо! Знаешь ли ты, господин ученый, что есть люди, которые носят с собою все дела свои? В молодости я знал одного человека, который обольстил девушку, и несчастная кинулась в реку. Что же? Как скоро он начинал рассказывать об этом, – волосы его подымались дыбом, лицо бледнело, он весь трепетал; в эту минуту он видел перед собою, как я теперь вижу тебя, реку, несчастную девушку, ее предсмертные муки...

– А! Знаю, знаю! Эту комедию очень хорошо представляет один мой знакомый...

– Да, я знаю, что это происшествие обращено в шутку; но его основа истинная: я знал очень хорошо человека, с которым это случилось, и уверяю тебя, что для него оно не было шуткой, а доказательство – он умер, замученный этим видением...

– Позвольте, однако ж, вам заметить, дядюшка, что вы не даром завели такой разговор. Вам хочется раздражить мое воображение, приготовить меня к необычайному, потом напугать меня, чтоб после, по вашему обыкновению, вдоволь посмеяться и надо мною, и над нашим веком, и над нашими знаниями.

Дядя улыбнулся своей неопределенной улыбкой.

– Читай же свое зелье, – сказал он и с сими словами вынул из кармана книгу.

– Что я вижу? – вскричал я, – да это "Брюсов календарь"! Так вот откуда вы почерпаете свою мудрость, почтеннейший дядюшка? Позвольте мне в свою очередь посмеяться.

– В этой книге много вздора, – отвечал дядя с полуважным и с полунасмешливым видом, – но в этом виноват не сочинитель... Как бы то ни было, мне эта книга нужна: сегодня я хочу поверить одну цифру, которая кажется мне сомнительною.

Уже было одиннадцать часов вечера; все в доме улеглось; на улицах смолкло; лишь с каланчей раздавались протяжные оклики часовых и терялись в отдалении; свечи нагорели, и трепещущие тени ложились по карнизам, украшенным княжескими гербами; все было тихо.

Газеты были интересны в эту минуту; читая их, я совершенно забылся; все мое внимание было устремлено на этот положительный европейский мир с его деятельностью, промышленно-

стью, страстями, паровыми машинами. Особенно статья о железных дорогах очень занимала меня, и невольно в душе моей возбуждалась гордость при мысли о исполинских предприятиях промышленности нашего времени. Словом, я весь углубился в чтение, как вдруг... верить ли?... нет, это не обман... точно, в очарованной зале раздалось, и очень явственно, стенание. Никогда я не забуду этой минуты; до сих пор эти звуки раздаются в ушах моих. Этот стон не походил ни на голос человека, ни на крик животного, но в нем было нечто невыразимо-грустное; он проникал во внутренность души, его нельзя было слушать без особенного волнения; казалось, этот звук повторялся в самой глубине моего сердца... В эту минуту пробило двенадцать часов; бой часов привел меня в себя: я бросился к дверям залы, – в ней все было тихо. Поставленные мною свечи на столах горели спокойно; все двери были заперты, и в зале никого не было. Я снова обшарил все стены, заглянул в соседние комнаты – все было тихо и спокойно. Невольно смущенный возвратился я в комнату дяди: он сидел спокойно, внимательно пересматривал свою книгу и делал в ней какие-то отметки.

– Слышал? – сказал он.

"Слышал", – отвечал я ему.

– Понимаешь?

"Нисколько".

– Ну, может быть, это был скрип двери, – продолжал дядя своим насмешливым тоном.

Я молчал. Дядя продолжал:

– Хочешь ли еще оставаться?

– Хоть до утра. Но почему нам не войти в залу?

– Я не знаю наверное, не помешает ли это нашему опыту. Подождем еще второго раза; если хочешь, сделаем так: я пойду в ту комнату, в которую вход с противоположной стороны залы; ты останешься здесь; оба станем у дверей и в минуту вопля войдем в залу в одно время.

Я согласился, хотя, признаюсь, на меня находил ребяческий страх и мне жутко было оставаться одному в комнате. Сердце мое сильно билось, стенание беспрестанно отдавалось в ушах моих.

Я старался прийти в себя, вычисляя все акустические возможности образования такого звука. Между тем одною рукою я взял свечу, а другую положил на ручку дверей, чтоб быть готовым всякую минуту: не знаю, долго ли я пробыл в сем положении; все было вокруг меня тихо; я слышал, казалось, трепетание моего пульса; вдруг, когда я хотел отойти уже от дверей, возле нее самой, под моим ухом, снова раздался вопль; но этот вопль имел другой характер: он также не походил ни на какой из известных мне звуков, а казался более выражением гнева, нежели грусти.

Холод пробежал по моим жилам. Однако ж, я быстро отворил дверь и чуть было не отступил назад, когда на другом конце залы увидел человеческий образ... Только через минуту я узнал в нем лицо дяди, который, по условию, отворил свою дверь в одну минуту со мною.

– Слышал? – повторил дядя своим обыкновенным тоном.

– Странно, очень странно! – отвечал я. – Теперь слушайте, дядюшка; нужно испытать последнее: останемся в этой комнате и посмотрим, точно ли в ней происходят эти страшные явления.

– Согласен, – отвечал дядя, – хотя, признаюсь тебе, я по особенным причинам не хотел бы здесь оставаться, да и за успех не ручаюсь. Впрочем, – прибавил дядя, подумав немного, – испытаем.

Я снова осмотрел все соседние комнаты, все двери, поправил свечи и, чтоб дать другое направление своим мыслям, принялся снова за свою газету; мы уселись посредине залы возле ломберного стола; дядя чертил на нем с большим вниманием какие-то цифры и непонятные мне знаки.

– Что это такое? – спросил я.

– Ничего, – отвечал дядя тоном более важным обыкновенного. – Это касается до меня одного; ты вне этой сферы.

– Дядюшка, – вскричал я, – Бога ради, прочь эту таинственность! Я желаю теперь сохранить все присутствие духа.

Мы замолчали. Более получаса продолжалась совершенная тишина, как вдруг... как выразить мое удивление! из глубины залы послышалось снова стенание, сперва тихое, потом громче,

громче... наконец оно раздалось над самым моим ухом. На этот раз я явственно различил два звука, в которых выразалось какое-то неутешное отчаяние, гнев, печаль, словом, все скорбное, что только могла изобрести душа человека; я вскочил со стула, взглянул на дядю – он сам казался встревоженным и, сильно опираясь на стол, с беспокойством следовал за движением звука... Но как выразить мой ужас, когда, взглянув на противоположную стену, я увидел между тенями, которые ложились от меня и от моего собеседника, еще третью тень, весьма явственную, но которой образа уловить было невозможно, ибо он беспрестанно изменялся. Это было нечто невыразимое, похожее на человеческую фигуру, которое, казалось, рвалось и билось, беспрестанно меняя свою форму; тут было подобие головы, рук, которые то вытягивались, то сжимались, как фигуры на оптических картинах, известных под названием "аморфозных". Все это продолжалось не более минуты... Я оглянулся назад: в зале никого не было, кроме нас; я взглянул опять на стену, – непонятная тень бледнела, с тем вместе и вопль терялся в другом конце залы. Казалось, он пронесся мимо нас.

– Ну, слава Богу, исчезло! – сказал дядя, отнимая руки от стола. – Несчастные! – прибавил он вздохнувши, – когда же вы заплатите последний динарий?

Через несколько минут дядя успокоился, принял опять свой насмешливый вид и сказал:

– Что? Слышал?

– Слышал, – отвечал я.

– Видел?

– Видел, – отвечал я.

– Чист ли опыт, господин испытатель?

Я молчал.

– Теперь можно спокойно отправиться домой, – продолжал дядя, – ничего больше не будет.

– Почему вы это знаете?

– Три эпохи жизни – три стенания.

– Бога ради, оставьте свой таинственный тон. Постарайтесь лучше общими силами истолковать это странное явление...

– Для меня оно очень ясно.

– Так скажите.

– Что пользы? Ты все-таки ничего не поймешь и скажешь опять, что я насмехаюсь над тобою, что этого нельзя доказать, и прочее, как ты обыкновенно говоришь в ответ на мои искренние объяснения, – искренние, – повторил он с насмешливым видом.

– Нет, говорите, дядюшка, говорите, что вы знаете и как вы понимаете. В таком странном явлении все допустить можно.

– Все? – спросил дядя, посмотрев на меня пристально.

– То есть... я хотел сказать, что всем должно пользоваться для объяснения...

Дядя улыбнулся. Я замолчал.

Мы пробыли до утра в очарованной зале и, как говорил дядя, действительно ничего более не слышали.

Вот что называл дядя объяснением этого странного явления. Я постараюсь, сколько позволит память, повторить здесь его рассказ во всей его полноте. – Чтоб объяснить тебе это явление, – говорил дядя, – я должен начать издалека. Оно, по времени, относится к третьему десятилетию XVIII века. Моего рассказа ты не найдешь в истории, потому что в вашей истории записываются лишь внешние происшествия, лишь обманчивые образы настоящих внутренних происшествий. Сверх ваших филологов, археологов, антиквариев и проч. т. п. существуют на сем свете другие, историки; они ведут летопись тем явлениям, которые обыкновенно остаются у других незамеченными или истолкованными превратно. Я имел случай, в моей жизни, быть в сношении с этими неизвестными бытописателями, и то, что тебе буду рассказывать, почерпнуто мною из их таинственных преданий. Верь мне или не верь, как хочешь. Если мой рассказ покажется тебе недовольно ясным, потрудись объяснить сам. Что до меня касается, мне других объяснений не нужно.

Около 1726 года в отдаленной комнате недалеко от Сухаревой башни, около полуночи, два человека, – один старик, другой средних лет, суетились возле печи странного вида. Молодой чело-

век сидел против самого очага и поправлял щипцами горящие уголья; осмотрев тщательно устье, он принимался читать огромную книгу, лежавшую перед ним на налое. Старик, в широком бархатном кафтане, после осмотра садился в кресла и слушал чтение с большим вниманием: молодой человек читал протяжно. "...Получив камень посредством хорошего управления огня белым, что уже выше показано было, если захочешь видеть его красным, то умножай жар печи, ибо наша Саламандра живет лишь в сильном огне и среди огня и питается огнем и не боится огня; от легкого жара не отделится от камня тинктура и сера. На работу сию потребно 41 сутки".

– А который день у нас сегодня? – спросил старик.

– 32-й с начала фиксации, – отвечал молодой человек.

– А все еще не видать красного дракона, да не видать даже и ржавчины, о которой говорит Василий Валентин. Верно, мы как-нибудь ошиблись в операции.

– Подождем 41-го дня, тогда увидим.

– Хорошо тебе ждать, молодому человеку, а каково мне – старику? Вот уже четвертый раз начинаем все ту же операцию: кажется, близко, кажется, ничто не забыто, – а нет успеха! А между тем силы слабеют; сколько ночей без сна... Если б не ты, Иван Иванович, то не достало бы у меня сил на это великое дело. Ах, если бы нам только дойти до красного дракона! Уж из него можно было бы получить питейное золото, которое доставляет человеку жизнь почти бесконечную и совершенное здравие. Пока добьюсь жизненного эликсира, боюсь совсем здоровье потерять. Вот и теперь уже дремота меня клонит; если неравно засну, то ты уж, пожалуй, не засни, любезный; послужи службу, – ведь я тебе великую тайну открываю, – пожалуйста, не засни; теперь каждая минута дорога; не жалея уголья, не отходи от атанара¹¹: если минуту огонь ослабнет – все погибло, опять надобно будет начинать сызнова. Пожалуй, не засни; ах, дремота клонит, береги... Саламандру... потому что... драконова кровь... атанар... квинтэс... сенция... эликсир...

Мало-помалу слова старика мешались; он дремал, дремал и наконец заснул совершенно, поворачивая во сне заветные слова алхимистов.

Молодой человек все прилежно смотрел за очагом, не сводил с него глаз и поправлял горящие уголья.

Грустные мысли носились в голове сидевшего пред очагом. – Так вот, – думал он, – чем кончились все мои надежды; вот зачем судьба вырвала меня из моей бедной финской лачужки. Много прекрасного блестело предо мною; я видел *Великого*, я беседовал с ним, я думал его мыслями, чувствовал его чувствами – и не стало Великого, и схоронились с ним все мои надежды. Нет опоры у бедного пришельца. Оклеветали меня, изгнали... Что-то делается теперь в моей прекрасной комнатке в адмиралтействе? Трудится ли там кто с таким рвением, с каким я трудился? А мои переводы по цифирной науке, а мой план типографии?.. Все осталось втуне! Разве на добычу червям. И что же? Будущий воевода, боярин – теперь помощник, почти раб брюзгливого, полусумасшедшего старика, провожу бессонные ночи пред горящим угольем, над работою едва ли сбыточною и едва ли не преступною!.. А тут еще жена со своими требованиями, упреками; говорит, что я не могу содержать ее, вспоминает о прежнем своем житье, о прежнем довольстве. Что же мне делать? Я ли виноват, что меня лишили места, что другим оно понадобилось? Я ли виноват, что меня, бедного финна, все отталкивают от себя с презрением? Грустно, грустно!.. Ах, мои золотые надежды, где вы? Где вы? Был бы жив Великий, не то было бы... А теперь неужели все кончено? Неужели мне не жить в барских хоромах? Неужели не видать больше поклонников? Неужели умереть не воеводою? Ах, зачем, зачем я оставил мою лачужку? Зачем судьба привела меня видеть чужие страны? Зачем получил я свет наук и образовал ум свой? Тогда бы сердце не томилось; не знал бы, не мучился бы я неутолимою жаждою; спокойно бы провел мою жизнь при шуме родных порогов, в бедной лачуге... А Эльса, Эльса! сестрица! Где ты, что с тобою? Где твои светло-русые кудри, где твои томные очи? Где твоя белая грудь? Ты бы любила меня, ты бы не роптала на судьбу, что принуждена жить с бедным чухонцем; на твоей простодушной груди я засыпал бы спокойно, прислушиваясь к родимым песням...

Молодой человек закрыл лицо руками; слезы брызнули из глаз его...

¹¹ Алхимическая печь. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

– Таинственный очаг! – продолжал он, – что ты устремил на меня свое огненное устье, что скрывается в тебе? Зола-уголь... но кто знает... быть может... еще несколько дней, и польется из тебя золото, и бедный финн гордо взглянет в лицо людям. О, тогда не тебя озолочу я, злая жена, не тебя! – на твоём языке лишь змеи шипят! – нет, тогда брошу тебя, покину... Богатому все позволено; полечу к родным берегам, обойму свою Эльсу и с нею вместе засмеюся над целым миром. Ах, Эльса, Эльса! где ты?

В эту минуту кто-то постучался у двери; молодой человек взглянул: – Так! Это жена моя, змея подколотная. Что тебе надобно? – сказал Якко (так называли молодого человека). В комнату вошла женщина лет тридцати, бледная, с лицом, искаженным от гнева; платье ее было в беспорядке.

– Что? – сказала она сердитым голосом, – старый заснул? Залей огонь – меньше угольев выйдет.

– Как можно! – отвечал Якко.

– Так же можно, как ты прежде делал; что вы тут варите, бесам на потешенье! Мне вот так от добрых людей прохода нету. – День и ночь огонь у вас тлится; ведь прохожие дым-то видят и дым-то у вас не православный – серой да жупелом пахнет по всей улице. Все говорят, что ты яды варишь или чертей вызываешь.

– Пусть болтают себе что хотят, на этот раз не хочу больше обманывать старика, не переведу огня, пока дело не кончу.

– Да, слушай тебя! Не бойсь, старик-то себе на уме: не хочет у себя на дому чертям кашу варить, а к тебе приходит; ему ничего, а тебя в срубе сожгут, да и меня с тобою вместе. Ах, я бедная, горемычная сирота! Нет у меня ни отца, ни матери, ни роду, ни племени, некому за меня заступиться – попустил же Бог выйти замуж за проклятого чухну, за колдуна, за еретика...

– Вон отсюда, – закричал рассерженный муж, – или худо тебе будет. Старик проснется, увидит тебя здесь, беда да и только. Поди вон, говорю тебе.

– И ходить-то мне не в чем по вашей милости, государь мой, Иван Иванович! Дайте денег на башмаки.

– А где я возьму? От старика не добьешься; а как он проснется да тебя увидит здесь, так и последнего куска хлеба не будет... Смотри, он никак потягивается – убирайся вон, говорят тебе!

Женщина взглянула на Якко с невыразимою злобою и ушла, бормоча про себя: – Чухна, колдун, еретик, нищий...

– И вот та женщина, – подумал Якко, – которая мне казалась ангелом доброты! Куда девалась девическая кротость, женский стыд? Та ли это Маша, которая, бывало, в своем голландском чепчике, затянутая в кофту, милая, добродушная, боялась вымолвить лишнее слово? Теперь все переменялось! Пока мы жили в довольстве, она казалась ангелом; но этот ангел не перенес самого обыкновенного бедствия – нищеты! Ах, Эльса, Эльса! Ты бы не переменялась! Где ты? Неужели никогда не суждено мне видеть тебя?..

Между тем стал показываться свет; багряное северное солнце начало проглядывать сквозь туманы и тихо, как тать, пробираться по кровлям. Старик проснулся.

– Как! Уже утро? – сказал он, протирая глаза. – Что наше дело? Не ослаб ли огонь? – Он встал, подошел к атанару, осмотрел его со всех сторон, и, казалось, был доволен.

– И ты не заснул ни на минуту?

– Ни на минуту, – отвечал Якко.

– Спасибо тебе, мой сын. Потрудись, потрудись; помоги старику, уверяю тебя, внакладе не будешь... Важную тайну вверяю я тебе, молодой человек. Знай, все мудрецы мира, от начала веков, искали, в чем состоит наше дивное дело... дивное, говорю тебе. Оно всемогуще; оно спасает тела от гниения, оно, повторяю тебе, может бесконечно продлить существование человека... Одного не знали они: с чего начать; а я, я знаю. Так как вышние небеса образуются вокруг земли не сами собою, но влиянием солнца и других планет, так и наша квинтэссенция ждет оживления солнца, блестящего, всеильного, ровного, и против этого солнца не могут ничего все огни земные. Говорю тебе от избытка сердца, что это солнце, непобеждаемое огнем, этот корень нашей

жизни, это семя металлов, созданное для украшения нашего неба, было – в этой руке!

Якко слушал старика и не знал, верить ему или не верить: старик говорил с такою силою, с таким искренним убеждением... Правда, уже три раза принимались они за свое чудное дело и три раза находили – одну золу. Но Якко знал, что не один ученый муж в Голландии, Франции, Германии верил в алхимию и трудился над философским камнем. Многие смеялись над сими усилиями, но никто еще не осмеливался явно доказывать невозможность философского камня. В Париже Якко видел живое свидетельство этой истины: он видел здание, воздвигнутое на золото, сотворенное Николаем Фламмелем; он видел те чудные символы, которые Николай Фламмель оставил на построенных им зданиях в память своего дела и на разгадку мудрецам всех веков; он видел своими глазами в Вене железный гвоздь, которого половина была обращена в золото знаменитым алхимиком в славу таинственной науки; да и самый тот, который теперь работал с ним, принадлежал к числу ученейших мужей того времени; воин, сановник, почтенный высоким званием – как было не верить ему?.. А между тем старик казался ему подозрительным; иногда можно было сомневаться, сохранился ли в нем здравый рассудок; иногда он плакал, иногда смеялся как ребенок, прыгал по полу, хватался за волосы или начинал малопонятную, исполненную противоречий, но величавую речь, и тогда глаза его горели, он был в исступлении, трепетал всем телом. Не доверяя ни старику, ни своим сомнениям, Якко старался в книгах найти объяснения загадке. Парацельс, Арнольд де Вилланова, Гебер, Василий Валентин не выходили из рук алхимика; обольстительны были их речи; казалось, они открывали свою душу; все единогласно сулили богатство, счастье, здравие и жизнь долгую тому, кто с терпением дойдет до конца поприща. Якко находил в их описаниях все подробности чудного дела; ничто не было забыто; казалось, стоило только приняться; сами они говорили, что это дело может сделать женщина, не оставляя веретена своего; одного не открывали они: вещества, из которого должно было произрасти древо жизни – и пред Якко был человек, хвалившийся, что знает это таинственное вещество, которого имя никогда не было вверено бумаге. Это вещество было пред ним, сокрытое в грубой глиняной колбе... Якко терялся в размышлениях.

Последние дни алхимии не отходили ни минуты от очага. Когда засыпал Якко на два или три часа, не более, тогда за атанаром надсматривал старик.

Наконец наступил роковой, сорок первый день; алхимии не спали во всю ночь и ровно в уреченный час, в минуту, загасили огонь. О, как бились сердца их, когда наступило решительное мгновение! Рука Якко дрожала, когда он бережно стал отделять смазку, соединявшую все части таинственного снаряда; еще минута – и заблещет пред ними чудный пурпуровый камень, семя металлов, эликсир от всех болезней, дивная тинктура, возводящая грубый свинец в достоинство золота...

И вот снята крышка таинственного сосуда – что же?.. на дне его лежала черная, безобразная, спекшаяся масса, и только.

– Черный ворон поглотил нашего красного дракона, – воскликнул старик, – мы в чем-нибудь ошиблись... Надобно начать сызнова. Отдохни несколько дней – дня три, не более; а там опять изготвь атанар; я между тем пройду в уме все производство; постараюсь заметить, в чем мы могли ошибиться. Прощай. Не приходи ко мне. Не надобно, чтоб профаны знали о нашей связи. Не оставляй книг, прочти еще раз Парацельса: память моя слаба; я могу иное и упустить из вида.

С сими словами старик вынул из кармана серебряный рубль, положил на стол пред бедным Якко и удалился.

Бледный, изнеможенный, измученный бессонницей, Якко вышел из лаборатории в соседнюю комнату и с отчаянием бросился в постель. Сон его был слабый, беспокойный; но, малопомалу, видения делались увлекательнее: он видел берег Вуоксы, слышал шум иматрских порогов; Эльса была перед ним во всей своей красоте; она склоняла голову на грудь Якко, целовала его; ее кудри обсыпали его лицо; вокруг них лежали золотые слитки, драгоценные камни; светлое солнце сияло над ними и отражалось в их радужных переливах.

Грубый голос вывел Якко из его сладкого забвения.

– Перестанешь ли спать, ленивец? – говорила Марья Егоровна, – только бы спать тебе. Ну, где же золото? Подавай его. Много ли вы его наварили?

Якко едва мог прийти в себя; однако ж, он опустил руку в карман, вынул оттуда серебряный

рубль и бросил его с презрением на пол...

– Только-то? – сказала жена, поднимая монету. – Покорно благодарствуем, батюшка Иван Иванович! И это все на спитки, на съедки?.. Не много ли будет? Смотри-ка, с квартиры хотят сгонять; хлебник говорит, что уж больше в долг хлеба не даст, и мясник тоже, и лавочник... Ах, я бедная, горемычная!.. Последнее платишко осталось!.. Не в чем в Божию церковь сходить, Богу помолиться, чтоб не наказал меня за грехи твои, колдун проклятый!.. Ах, матушка, матушка родимая! Думала ли, гадала ты, что дойду я до такой участи?..

– Что ж делать мне? – спросил Якко с отчаянием.

– Делай, что знаешь, ты на то муж... мое бабье дело.

– Богом клянусь тебе, Марья Егоровна, – отвечал Якко слабым голосом, – что рад бы кровь тебе свою отдать, чтоб только ты меня не попрекала.

– Полно Бога-то призывать, еретик! Меня не проведешь; слышали мы эти рассказы.

– Да что ж делать мне? – отвечал Якко, начиная сердиться.

– А то было делать, что остаться в Петербурге. Было славное место, жалованье, все мой отец тебе доставил...

– Но ведь ты знаешь, что меня выгнали?

– Выгнали? Отчего?.. Оттого, что спина у тебя больно твердая. Пошел бы, поклонялся... так нет, как можно!.. Вишь, горд некстати. А теперь и свисти в кулаки... Ну, давай денег! Ты по закону должен меня содержать.

Якко вскочил с постели.

– Замолчи! – вскричал он.

– Нет, не замолчу, а пойду, донесу, что ты колдуешь, яды варишь. Как приведут в застенок да начнут лопатки выворачивать, так другим голосом заговоришь, еретик проклятый! Нищий!..

Мы не будем описывать сцены, которая последовала за этим разговором. Она, в нашем веке, показалась бы слишком странною...

Прошло три дня. Якко не успел и отдохнуть. Жена не давала ему ни минуты покоя, и он мог укрощать ее лишь средствами совсем нефилософскими. Все это мучило, унижало его душу. Часто он готов был наложить на себя руки; еще чаще хотел бежать из Москвы и пробраться на родимую сторону. Но его еще все манила надежда; казалось, она даже усиливалась с неудачами. «Еще сорок дней, – сказал он наконец самому себе, – и одно из двух: или я обладатель сокровища, или меня не станет».

На четвертый день кто-то постучался в двери; то был старик.

– Нашел! – сказал он, – и как можно было забыть это!.. Надобно было начать в четверг, в день, посвященный Юпитеру; а мы начали в понедельник, в день луны! Очень понятно, что ее холодная влажность проникла в наш атанар и помешала созреть дракону. Сегодня четверг, и ровно в полдень мы приступим к нашему делу. Все ли готово?

– Все, – отвечал Якко грустно, – но прежде, нежели мы приступим к работе, позвольте попросить, ваше сиятельство... в доме у меня нет ни копейки... рублем, вами данным, я заплатил необходимые долги... – Слезы стыда и унижения катились по щекам Якко.

– Так! Я этого ожидал! – вскричал старик гневно. – Денег! все денег! Настоящий сын адамов! Я не знаю, право, зачем я тебя посвятил в наше дело. Ты работаешь только из корысти. В тебе нет душевного чувства к великому делу оттого, что душа твоя нечиста; ты не понимаешь стремления моей души, ты не понимаешь всей важности нашего таинства. Ты думаешь, это такое ремесло, как всякое другое; я тебя научаю величайшему чуду в мире, единственному, о котором человек должен заботиться, – а ты пристаешь ко мне с мирскими помыслами, с деньгами... презренный!.. Ступай, ищи денег, где хочешь.

– Уверяю вас, сиятельнейший граф, что если б не крайняя нужда, – отвечал оскорбленный Якко, – то... то я бы давно вас оставил. Ищите другого помощника, такого же прилежного, как я.

Рассерженный старик ходил по комнате; скупость терзала его, но, с другой стороны, он рассчитывал все выгоды, которые доставлял ему Якко. Старик очень понимал, как трудно ему было бы найти другое укромное место в Москве для его таинственных опытов. Трудно было скрыть

действия боярина знатного, богатого; но он надеялся, что никто не обращает внимания на бедную лачужку. Он вынул из кармана серебряный рубль, посмотрел на него с сожалением и, отдавая его Якко, примолвил с притворною улыбкою: "Ну, не сердись; вот тебе деньги; немного осталось поработать, и тогда ты на них будешь смотреть с таким же презрением, как я. Ну, теперь к делу". Ровно в полдень старик вынул из кармана золотую коробочку, открыл ее с таинственным видом, высыпал ее в атанар и поспешно захлопнул крышку, чтоб Якко не мог заметить, что содержалось в сосуде. Колба была замазана; под нею огонь разведен, и опять начались для Якко длинные ночи без сна, опять томительное, то робкое, то смелое ожидание, опять обольстительные страницы, опять однообразная, мучительная действительность. Протекли двадцать дней; снова ни старик, ни Якко не замечали тех алхимических признаков, которые предвещают успешное окончание дела. Однажды ночью старик заснул; Якко остался один пред очагом; грустно, невыразимо грустно было ему в этот день; опять он принужден был просить у старика денег, опять старик отвечал ему с обычным жестокосердием, опять жена мучила его своими упреками. Якко, устремив глаза в огонь, старался воспоминаниями прошедшего усладить горькое настоящее. Нежданно пришли ему на мысль слова, когда-то сказанные ему Эльсою; "ты наш, – говорила ему Эльса, – и должен быть нашим". Что значили эти слова, произнесенные этою странною женщиною в минуту волшебных видений?.. – Эльса, Эльса! – сказал Якко, – где ты? Неужели угасла твоя таинственная сила?.. Неужели ты не чувствуешь, что твой Якко страдает, что твой Якко зовет тебя? О, если б ты была со мною, ты, может быть, научила бы меня, что делать!

Мысли Якко делались от часу мрачнее и мрачнее. – Что, – говорил он в глубине души своей, – что все эти сказки о добродетели, о наказаниях в будущем мире? Неужели человек осужден страдать на земле?.. Неужели ему не дозволены все способы, чтоб избавиться от страданий?.. Все, – повторил он, невольно содрогнувшись, – да все, – сказал он с ожесточением, – о, чем бы я не пожертвовал в эту минуту, чтоб достигнуть моей цели!.. Вот еще способ, которого я не встречал в книгах; может быть, его-то и скрывают мудрые от толпы бессмысленной; может быть, здесь нужна жертва над таинственным сосудом; может быть, нужна жизнь человека... Почему не так?.. Зачем не испытать?.. И глаза Якко, пламенные, неподвижные, устремились на спящего старика.

Чувство, зародившееся в эту минуту, испугало его самого; он вскочил со скамейки, но едва повернулся в противную сторону, как смотрит... на освещенном от очага круге явственно нарисовалась какая-то тень неопределенного вида. Якко вздрогнул, холод пробежал по его жилам, он бросился к очагу и, напрягая все силы внутренние, произнес: "Эльса, Эльса! Ты ли это?"

И в середине пламени ему показался неясный образ... ближе, ближе... он не может сомневаться... это лицо Эльсы, она улыбается... она манит его... она говорит ему: "Да, Якко, это я, твоя Эльса; я слышала тебя; давно бы тебе обо мне вспомнить... ведь ты трудишься понапрасну. Неразумные люди! Вы хотите открыть величайшее таинство, не призвав Саламандру! Ведь огонь ваш мертв без нее. Ему ли оживить дракона? И для нас это дело трудное; и мы со страхом к нему приступаем. Но для тебя я на все готова. Засни, засни, милый Якко; подкрепи свои силы; я буду вместо тебя смотреть за работою".

– Эльса, Эльса! – вскричал Якко, простирая к ней руки.

– Нет, Якко, теперь ты не можешь обнять меня; днем я предстану тебе в земном моем виде, и ты не оставишь меня, Якко, не правда ли?.. Ты будешь мне верен?

Якко вздрогнул: – А жена?

– Жена? – отвечала Эльса насмешливым голосом, – жена не помешает...

– Как не помешает?.. – вскричал Якко.

– Не бойся; я тебя не на грех навожу, неразумный; довольно только пожелать, Якко... Или ты и до сих пор не постигнул, что значит воля человека: тебе стоит только любить меня; против нашего таинственного пламени ничто смертное противостоять не может; но одно условие: будь моим, будь моим, Якко, клянись...

– Клянусь, – проговорил мрачно Якко...

Он смотрит: Эльса превратилась в струю белого пламени, но в этой струе он все узнает свою Эльсу; он видит, как она обвивается вокруг таинственного сосуда и сыплет на него золотистым дождем. Не диво ли? Сосуд сделался прозрачным; внутри его огненный лев борется с огненным

драконом, и вот лев уже при последнем издыхании... дракон поглощает его... мгновенно на нем является блестящая корона, и сосуд наполняется рубиновым светом... дракон машет огненными крыльями, и от каждого взмаха радужные лучи волнуются в сосуде.

Далее Якко ничего не видал, ибо, казалось ему, он заснул крепким сном. Стук в дверь разбудил его. Было уже утро. Старик еще спал. Молодой человек подумал, что это жена, и не хотел отворять; но стук повторился. Якко услышал, что кто-то на финском языке проговорил: "Отвори, отвори, милый Якко". Якко вздрогнул, отпер дверь – перед ним была Эльса в обыкновенной грубой финской одежде; волосы подобраны под безобразную шапочку. Она бросилась к Якко на шею. Якко был вне себя.

– Ты, я чай, забыл меня, Якко, – говорила она, – а я так вспомнила. Как скоро я проведала, что тебя выгнали, разорили, что ты беден, я все оставила и добралась до тебя. Уж чего мне это стоило! кабы не Юссо...

– Муж твой? – спросил Якко.

– Нет, Якко, я не вышла замуж. Юссо очень хотел на мне жениться, но я все говорила ему: погоди, вот братец приедет. Он ждал, ждал, бедный, да и ждать перестал; а все меня еще любит; как он узнал, что я горюю по тебе, тотчас сказал: "дай, свезу тебя, Эльса; авось-либо брату поможешь"; а Юссо такой малый смышленный, торгует в Питере, да и здешних-то знает; уж мы тебя здесь искали, искали... да еще хорошо, добрый человек случился, вот тот, который к тебе уголья возит; ведь ты, говорят, кузнец или слесарь... он и привел меня сюда, прямо к дверям – такой добрый...

– Эльса, Эльса!.. – говорил Якко, – так ты в самом деле можешь помочь мне?.. Ты знаешь наше дело?..

– Нет, я кузнечного дела не знаю, а помочь тебе помогу; посмотри-ка, сколько я без тебя накопила.

И с сими словами она вытащила из-за пазухи холстину, из которой посыпались серебряные и золотые деньги. Было тут рублей сто и более.

– Эльса! – говорил Якко, – но в эту ночь, здесь в очаге...

– Что такое? – спросила Эльса.

– Помнишь, что ты мне говорила?..

– Когда? – спрашивала Эльса с удивлением.

В эту минуту Марья Егоровна возвращалась с рынка.

– Это что такое? – вскричала она, – еще колдунью привел сюда?..

Но едва она увидела деньги, как лицо ее повеселело; она бросилась к Эльсе на шею: – Ах, душечка, Елисавета Ивановна!.. Я тебя и не узнала... А ты совсем не переменилась: такая же красавица, как и была; как это ты нас спознала?.. А мы об тебе горевали, горевали... Уж пожалуй, не откажи, погости у нас... Да что ж это ты деньги-то рассыпала?.. Дай приберу.

– Добрая сестрица, – сказал Якко жене, – отдает нам эти деньги; они наши.

Марья Егоровна снова бросилась обнимать Эльсу, припрятала деньги в карман и побежала на кухню, приговаривая шепотом: "Теперь-то я погуляю!"

Со времени чудного явления Якко еще прилежнее стал заниматься своею работою. Часто в извивистых потоках пламени, окружавших сосуд, он узнавал Эльсу; он понимал очень ясно, что это была она, а никто другой, ибо часто для него лицо ее мелькало среди пыла; он говорил ей, и она ему отвечала; часто сосуд делался на мгновение прозрачным, и внутри его происходили странные видения. Якко видел в нем то вырытую могилу, в могиле безобразный остов, сквозь череп и кости остова проходила огненная струя, и глазные впадины, челюсти и ребра светились, и мертвец с болезненным стоном подымался из могилы; то видел он поле, усеянное мертвыми костями, и огненные птицы слетались клевать их; то появлялись в сосуде два льва, которые пожирали друг друга; то видел он Эльсу, в образе Саламандры, с короной на голове. Саламандра сладострастно плескалась в огненном море, и две пламенные струи обильно истекали из ее девственных персей.

Всматриваясь в эти чудные явления, Якко вспомнил, что видал нечто подобное в книгах Ва-

силия Валентина и других герметических философов, но тогда он почитал сии изображения простыми символами, под которыми мудрые скрывали свои таинства, а теперь все было понятно и ясно нашему алхимику.

– Скажи мне, – говорил Якко, устремляя глаза в раскаленное устье, – скажи мне, Эльса, каким чудом я тебя вижу *здесь* совсем иною, нежели *там*. Там ты даже не понимаешь своего здешнего существования.

– Милый Якко, – отвечала Эльса, простирая к нему из устья свои огненные руки, с которых дождем сыпались светлые искры, – милый Якко, ты слишком любопытен. Могу ли я здесь обнять тебя? От моего прикосновения истлеет твоя смертная оболочка. Я могу приблизиться к тебе лишь в виде остывшего пепла; будь доволен и тем до времени. Оставь свое любопытство, продолжай помогать мне в нашем деле, которого ни мы одни, ни люди без нас произвести не в состоянии. Трудное дело, Якко, очень трудное, которого не все таинства и нам доступны. Только из любви к людям мы приступаем к ним; знаешь ли, мы всем существом своим должны проникнуть в корень металлов; из собственных наших грудей мы должны точить живительную влагу, которая одна может пробудить его мертвую силу. Нелегко нам это, Якко: для этого мы должны бороться со всеми стихийскими духами, которые в образе зверей и разных животных ведут с нами войну жестокую; они не хотят, они страшатся пробуждения властелина над всеми стихиями. Но рано или поздно мы должны победить их.

– Скоро ли? Скоро ли? – восклицал нетерпеливый Якко.

– Не знаю; много ошибок вами сделано. Но скажу тебе в утешенье: на этот раз ты, с моею помощью, добудешь одну из низших степеней таинственного камня. Вам, людям, и она пригодится.

Старик по-прежнему каждый день приходил к Якко и усердно хлопотал вокруг печки. "Теперь, – говорил он, – я уверен, что мы достигнем своей цели. Кажется, мы ничего не забыли, и огонь идет ровно. Еще несколько ночей, и наш феникс расправит свои крылья".

– Сиятельнейший граф, – сказал Якко с значительною улыбкою, – думаете ли вы, что наше дело может увенчаться успехом, если посредством таинственных заклинаний мы не призовем Саламандры?

– Все ты не то говоришь, любезный, – отвечал старик, – читаешь книги, да не понимаешь. Ну что такое Саламандра? Это есть только символическое слово, под которым наши мудрые понимают иногда действие огня в нашем деле, а иногда и самый камень, потому что он горит в огне не сгорая. Учись, учись, любезный...

Якко еще раз улыбнулся и замолчал.

Между тем со времени появления Эльсы все в доме Якко пошло не по-прежнему. Она совсем завладела хозяйством; появились в доме чистота, опрятность, порядок; Эльса завела корову, другую и третью, и мало-помалу из боярских домов стали сходитьсь люди, покупать молоко и масло, которое, в отличие от обыкновенного, прозвали "чухонским". Домоводство снова появилось в доме бедного Якко. Марья Егоровна не могла нарадоваться, видя у себя по-прежнему медные, серебряные, а иногда и золотые деньги; появились у ней и щеголеватые платья, и голландские чепчики, и ситцевые кофты, и черевики с красными каблуками. Все бы это хорошо; но вот что было дурно: во время нищеты Марья Егоровна покусилась выпить чарочку; выпила – и на душе у ней повеселело; в другой раз она попробовала – то же; ей понравилось; мало-помалу она обзавелась небольшим штофиком, который, однако ж, прятала от мужа в поставце. Мало-помалу она чаще и чаще начала прибегать к утешительному напитку; привычка сделалась страстью, и мы должны признаться, что большая часть ее упреков мужу происходила оттого, что у Марьи Егоровны не доставало денег для наполнения своего заветного штофика. Теперь Марья Егоровна блаженствовала. С утра уже она была навеселе, и пока Эльса хлопотала по хозяйству, Марья Егоровна сидела за столом, подперши бока руками, покачивая головой и напевая:

Чарочки по столику похаживают!

В таком положении ее часто заставляла Эльса и, вероятно, не понимая, что тут происходит, смотрела на Марью Егоровну такими странными глазами, что Марье Егоровне делалось и страш-

но, и грустно – и она снова прибегала к своему утешителю. После обеда Марья Егоровна уже спала непробудным сном, а иногда даже совсем не обедала; ночью, проснувшись, она снова потихоньку пробиралась к поставцу... и опять засыпала. На другой день начиналось то же.

Якко не обращал внимания на поведение жены своей; весь погруженный в свое таинственное предприятие, Якко забывал все житейское. Каждый день у очага, он редко приходил к своим, да и когда приходил, занимался только одною Эльсою, радуясь, что жена оставляет его в покое, и нетерпеливо ожидал рокового сорок первого дня.

Наконец он наступил... Поднята таинственная крыша, – на дне сосуда – спла– вок синего цвета... И старик и Якко затрепетали.

– Это что-то чудное, – сказал старик, – наш камень должен быть пурпурового цвета... это не он... но уж не семя ли яхонта?.. Испытаем...

С сими словами старик растопил свинцу, отломил от полученного сплава несколько крошек, бросил на свинец... крошки разлетелись, и свинец остался по-прежнему свинцом. Целый день протрудились наши алхимики. Уж чего они не делали с полученным сплавком! Соединяли его с медью, и с железом, и со всеми металлами – все тщетно: масса трескалась, рассыпалась, но ничто не обратилось ни в серебро, ни в золото.

– Это просто стекло, – сказал наконец старик с досадою, – мы в чем-нибудь ошиблись. Надобно начать сызнава. Отдохни дня три, а потом снова изготвь атанар.

Между тем Якко явственно слышал, что Эльса громко хохотала посреди угольев.

– Не слушай бессмысленного старика, – говорила она, – возьми этот камень; он не золото, но стоит золота, – не сказывай об этом старику; распусти этот камень в воде, и ты увидишь, что будет. Бессмысленный! Он думает, что понимает писание мудрых; он прочел, что нужна сорокадневная работа над фениксом, но прочел только мертвую букву; он не понимает, что в сих словах сокрыто кабалистическое число, что круг здесь изображает землю, а число – четыре времени года, срок, необходимый для полной зрелости дивного камня.

– Что ж ты задумался? – сказал старик.

– Разве вы не слышите? – отвечал Якко.

– Да что слышать? Только уголья трещат в очаге.

Якко понял, что слова Саламандры были ему только слышны, и замолчал.

– Ну, что ж ты хотел сказать? – повторил старик.

– Я думаю, что не слишком ли рано мы открыли атанар? Число сорок не означает ли четырех времен года?..

– Мысль недурная, – заметил старик, – о! я вижу, в тебе путь будет! Испытаем. Так изготвь же два атанара, один мы будем открывать каждые сорок дней, а другой откроем по прошествии целого года...

С сими словами старик по-прежнему положил на стол серебряный рубль и удалился, бормоча про себя: "Четыре времени года... сорок... четыре... как мне на мысль не вспало!.. странно!.."

По уходе старика Якко немедленно раскалил снова полученный им камень и бросил его в воду; после нескольких подобных операций в сосуде осталась жидкость прекрасного синего цвета. Якко опустил в нее кусок сукна, – сукно окрасилось. Познания Якко в химии скоро объяснили ему, какую выгоду можно получить из сего открытия; он разложил вещество по правилам науки, нашел состав его, снова повторил опыт в большем виде, и скоро в домике Якко появились чаны, кубы; он объявил гостям суконной сотни, что берется красить сукно не хуже заморского, – и в городе дивовались, толкуя про *кубовую* краску. И эти новые хлопоты достались доброй Эльсе: целый день она суетилась, нанимала работников, вела счета, заглядывала в чаны, собирала краску, продавала ее, красила, развешивала. Якко служил иногда переводчиком и только получал деньги. Но мог ли такой успех удовлетворить гордым ожиданиям алхимика? Торговать краскою тому, кто собирался захватить в руку корень всех сокровищ мира!.. И снова запылал атанар, и снова старик явился с своею таинственною коробкою. Но в то время, когда он собирался всыпать ее в сосуды, Якко опять услышал хохот Саламандры: «Твой старик многое знает, – с ним и нам не худо посоветоваться, но не знает безделицы: все его составы ни к чему не поведут, если он не добудет масла из кремня».

– Масла из кремня? – спросил Якко.

– Да; ты знаешь, что внутри кремня кроется дивная, могучая жидкость...

– Но я знаю и то, что эта жидкость истребляет все тела земные; нет сосуда, который бы мог содержать ее: одна капля ее на теле человека – и человек истлевает в ужаснейших мучениях...

– Якко, Якко! зародыш жизни – смерть... – проговорила Саламандра сильным голосом и исчезла.

Когда Якко заговорил со стариком о кремнистом масле, старик затрепетал:

"Знаю, – отвечал он, – слышал я об этой страшной влажности, встречал и в книгах указания на нее, но до сих пор думал, что алхимики упоминали о ней для того только, чтоб испугать профанов или чтоб наказать их, когда они нечистыми невежественными руками примутся за наше великое дело".

Работа продолжалась по-прежнему, и по-прежнему без успеха. Каждую ночь на старика находил неодолимый сон. Якко смотрел за атанаром, и когда силы его ослабевали, Саламандра являлась среди огня, утешала своего любимца, ласкала его, простирала к нему свои огненные персты и золотистой струей обвивалась вокруг атанара.

Однажды вечером старик уже дремал, Якко в раздумье сидел пред огнем; грустно было на душе алхимика; не тешили его мелочные домашние выгоды; переставала утешать и надежда. Сумрачно смотрел он вокруг себя, и невольно взор его вперился в старика, который дремал, облокотившись на креслах.

– Зачем он не я? – невольно приходило в голову Якко, – зачем я не он? – прибавлял он, теряясь в своих мыслях, – он знатен, он богат, он приходит ко мне, пользуется гостеприимством бедняка для дела опасного и он же презирает меня... зачем он не я?... я – он? он – я?... Мысли его делались мрачнее и мрачнее, иногда они даже пугали самого алхимика.

Кто-то сзади подкрался к молодому человеку; трепетный, горячий поцелуй заставил его содрогнуться, он обернулся – перед ним была Эльса.

– Это ты, Эльса? Как вошла ты сюда?

– Ах, как я рада, ты забыл запереть двери! Насилу-то я попала к тебе сюда; мне без тебя знаешь ли как скучно, Якко: целый день и ночь ты здесь, а я одна, совсем одна; работы столько по хозяйству, иногда так хочется поцеловать тебя, как будто жажда мучит...

И Эльса села на колени Якко, обняла его; Якко прижал ее к себе. – Эльса, Эльса! – заговорил невольно Якко, – если бы ты знала, как я люблю тебя! Так люблю, что страшно сказать...

– Да! любишь! а Мари, Мари...

– На Мари я не могу смотреть без отвращения, Мари зла, Мари попрекает меня, Мари опухла, больна она, что ли?

– Может быть, я не знаю, – отвечала Эльса, улыбаясь насмешливо, – а может быть, и не больна, а так, от большого веселья... Она много спит, Якко, очень много. – Между тем лицо Эльсы вспыхнуло, она продолжала: "Во сне человек, знаешь, безоружен... многое... на него действует..."

– И я заметил, что она слишком часто бывает не в себе...

– Да! правда... точно не в себе...

– Но что говорить о ней! Ты одно мне утешенье, ты мне все заменяешь – и жену, и семейство... Отец твой призрел меня сироту, бедного, беспомощного; снова нищета посетила меня, – ты мне стала вместо отца; ты ведешь весь мой дом; ты обогатила меня; ты меня покоишь... ты меня любишь...

Снова Якко прижал Эльсу к своему сердцу, и Эльса обвилась вокруг молодого человека, как обвивается плющ вокруг статного дуба; она припадала к его лицу, как бы хотела спрятаться на груди его, как бы хотела впиться в нее; щеки ее все более распалились от действия очага и от внутреннего волнения...

– Что это? – сказала Эльса, указывая на алхимический снаряд.

– Я ищущ Сампо, – отвечал Якко, улыбаясь и желая, сколь возможно, приблизиться к поняти-

ям Эльсы.

Лицо Эльсы разгоралось все сильнее и сильнее; глаза ее блистали.

– Сампо... Сампо... да, точно Сампо... не другое что понимали под этим словом мудрые суомийцы... его одного должны искать, его одного и искали люди от начала веков; о нем одном их дивные сказания; к нему их труды и надежды... Немногим было открыто... немногим... лишь тем, которые душою и телом соединялись с нами... и тебе, смертный, открыт этот путь... и тебе... если ты... ты... любишь меня...

Эльса снова обвилась руками вокруг молодого человека... Якко был в исступлении; бледный, трепещущий, он прижимал к себе Эльсу и охладевшими от сильного волнения устами искал распаленных уст девушки.

Но вдруг он отпрянул от нее и закрыл лицо свое руками.

– Что я делаю!.. – говорил он с отчаянием, – Эльса, Эльса, пощади меня!

Эльса вперила в него гневные очи.

– Эльса! – продолжал он, – зачем я не могу вполне принадлежать тебе... зачем эта Мари... жена?..

– Мари! Мари!.. – повторила Эльса каким-то странным голосом.

В эту минуту Якко видел, что огненные искры брызнули из глаз Эльсы; она протянула руки... огненные струи истекали из ее пальцев... пламя потянулось из устья, заклокотало вокруг Эльсы, вокруг Якко... тут все смешалось... стены комнаты застлались огненными потоками... атанар расширился в необъятное пространство... Эльса и Якко носились и утопали в огненных волнах... львы, драконы, мертвый остов, чудовищные птицы летали вокруг них... все свивалось, развивалось, кружилось...

Когда Якко пришел в себя, все было тихо: старик дремал; спокойно тлелся очаг; Эльсы не было.

Сильный стук в двери заставил Якко вздрогнуть. – Кто там? – спросил он, отворяя двери.

– Хозяин, хозяин! – говорил голос работника, – с хозяйкой худо.

Якко поспешно отворил дверь.

– Что с нею? – спросил он.

– Да недоброе, барин, и сказать-то страшно... сам увидишь.

Якко вбежал в женину комнату; при входе сильный, странный запах ошеломил его; он поспешно приблизился к постели; на месте Марьи Егоровны лежала безобразная, почерневшая масса. Возле постели плакала работница; в углу сидела Эльса, склонив голову, и также горько плакала.

– Что здесь случилось? – вскричал Якко с ужасом.

– И сказать не мочно, – отвечала работница, рыдая, – тому мало время минуше, прилучилась Марье Егоровне немочь, заохала и застонала она, сердечная – вон мы к ней, и я, и Елисавета Ивановна: что, мол, с тобою?.. Смотрим, а у ней по телу синие огоньки так и скачут, а тело чернеет, чернеет... и дым и смрад валит; мы уж ее и тем и другим, и водой на нее плескали, и рушниками тушили, ничто не помогло; не успели глазом мигнуть, как она сгорела – вот, как видишь; и за попом послать не могли...

Якко стоял в раздумьи над прахом своей жены; скорбное чувство, похожее на раскаяние, теснило его грудь; он взглянул на Эльсу и спросил: – Ты была у меня?

– Я входила к тебе на минуту, – отвечала Эльса, рыдая, – ты мне сказал несколько слов и потом задремал, так что мне жаль было будить тебя; и я ушла от тебя на цыпочках и приперла дверь щеколдою; прихожу сюда, смотрю – с Мари худо; я послала к тебе работника, но он не мог тебя достучаться... Бедная Мари! Бедная Мари! Как она мучилась, – повторила Эльса, – хорошо еще, что недолго.

Якко бросился в кресла: – Неужели все это был только сон? – думал он.

Скоро в околodge узнали, что у красильщика жена сгорела; приходили, толковали, дивовались. Немчин-лекарь уверял, что она сгорела будто бы от излишнего употребления крепких напитков, но русские люди над ним смеялись. – Слышь ты, – говорили они, – будто оттого сгорела, что вино пила! Уж эти немцы! Нет, тут что-то недаровое. Потолковали, потолковали и разо-

шлися.

Похороны жены ненадолго отвлекли Якко от таинственного дела. Атанар пылал по-прежнему, по-прежнему Эльса в образе Саламандры обвинялась вокруг чудного сосуда; старик, слабеющий с каждым днем, по-прежнему устремлял потухшие очи на предмет своих ожиданий и мало-помалу погружался в забытие; он уже потерял и счет дням, полагаясь в этом на Якко.

– Скоро наступит 401 день, – говорила Саламандра, – дело совершается, наш таинственный плод зреет и укрепляется...

Сердце сильно билось в груди Якко. И так, невозможное для других было для него возможно. Еще несколько дней – и в руках его будет таинственный талисман, дающий здоровье, жизнь долгую и богатство несчетное. Но в эту минуту другая мысль невольно втеснилась в душу Якко.

– Зачем, – думал он, – зачем поделюсь я моей тайною с этим хилым стариком? Не он открыл ее, не ему ею пользоваться. Сокровище в моих руках будет моим вполне, а разделенное, – кто знает, – оно попадет в нечистые руки; слабоумный старик вверит его другому, и когда все сделаются богаты, то что будет значить мое богатство?

– Тут нет ничего мудреного, – отвечала Саламандра, подслушав его мысли, – зачем старику напоминать о роковом дне? Пусть проведет он его в забытии и тешит свою надежду над бесплодным сосудом.

И вот в полночь 401 дня атанар сделался снова прозрачным; пурпуровое пламя расстиралось в нем легким облаком; среди его выросла роскошный цветок; легкий, воздушный, он носился в пространстве; кругом его теснился длинный ряд мужей, в царских одеждах, с венцами на главах; они стояли в благоговейном молчании, ожидая, когда развернется шипок чудного цвета.

И вот все исчезло, крышка слетела с атанара, как будто рванулись струны на звонких арфах, по воздуху разнеслось благоухание... На дне сосуда лежал пурпуровый камень и озарял всю комнату розовым сиянием. Якко упал на колени... он смотрит: грубый глиняный сосуд мало-помалу превращается в золото. Якко приблизился, бережно поднял сосуд и бережно поставил его в скрытое место, заменив его другим, глиняным, такой же формы.

Через несколько минут старик проснулся.

– Ну, что? – сказал он, протирая глаза, – не ослабел ли огонь?

– Беда! – отвечал ему Якко, – крышка слетела с атанара.

– Ах! – вскричал старик, – злые духи нам препятствуют. Впрочем, это несчастье не с одним со мною случилось: у самого Парацельзия десять раз разрывался атанар от движения стихийных духов. Что делать! Надобно начать сызнова. Жаль, что мы не употребили кремнистого масла. Взрыв его опасен, умерщвляет человека, но зато оно же предохраняет сосуд от взрыва. Завтра займемся приготовлением этой дивной жидкости.

С этими словами старик по-прежнему опустил руку в карман и положил на стол серебряный рубль. Якко поклонился; улыбаясь.

– Якко, Якко! – говорила Саламандра, – остерегись, не пренебрегай деньгами старика; скрывай свое богатство, пользуйся им, наслаждайся в тишине; люди узнают – замучат тебя; ты не удовлетворишь их жадности и слитками золота, – они мучениями пытки не постыдятся достать из тебя заветную тайну. Всего более берегись старика: он силен и знатен между людьми, он скоро проникнет в твою тайну; пусть он думает, что она тебе еще неизвестна.

В первые дни восхищение Якко не имело границ. Ночью, когда старик засыпал, счастливый алхимик открывал свой чудный камень; несколько крупинок его падали на расплавленный свинец – и свинец обращался в золотой слиток. Днем Якко был вне себя от радости, прыгал, целовал Эльсу, которая никак не могла объяснить себе, как она говорила, чему так радуется Якко. Домашние толковали, что они скоро повеселятся на свадьбе, и рассчитывали, скоро ли пройдут скорбные дни траура.

Между тем слитки накопились; Якко прятал их в подполицу, и скоро в душе алхимика место радости заступило другое чувство. С умножением сокровищ мало-помалу стала одолевать его боязнь, что кто-нибудь проникнет его тайну, похитит его богатство. Он удвоил железные запоры на дверях и окошках, учредил сторожей, сам не смыкал глаз, – но ничто не могло его успокоить.

Скоро для него осталась лишь одна радостная минута в течение дня: та минута, когда свинец в руках его превращался в золото, и вслед за тем он почти с ужасом смотрел на золотой слиток: куда девать его? Как скрыть его? Как им пользоваться? И жизнь его превратилась в бесконечное терзание: он сделался стражем своего сокровища! С сожалением вспоминал он о том времени, когда, одушевленный надеждою, проводил ночи без сна пред атанаром; он не спал и теперь, но – теперь потому, что прислушивался, нет ли шума, не скребется ли вор под землею, не проснулся ли старик, не проник ли его тайны. Грустный, полубольной, бродил он в течение дня; ничто не утешало его, ни роскошный стол, ни улыбка Эльсы; тщетно спрашивала она его, о чем грустит он.

– Ты не понимаешь моей грусти? – говорил Якко Эльсе, печально отвечая на ее ласки.

– Ты, может, тоскуешь по Мари?

– О, не напоминай мне о Мари... не о ней моя грусть... лучше скажи, научи меня, что мне сделать с тем, что ты подарила мне и чем лишь умножились мои страдания.

– Я тебе скажу, что делать, – сказала Эльса, – продай все, что у тебя есть, и уедем домой на Иматру, поселимся в нашей избушке и забудем о целом свете.

– Ты не понимаешь, Эльса! – говорил Якко с нетерпением.

Такие разговоры возобновлялись часто. Эльса оставалась Эльсою; Саламандра не являлась более в устье бесплодного атанара.

Теперь еще прилежнее Якко сидел за атанаром. Вид старика делался час от часу подозрительнее: Якко замечал на лице его сомнение; казалось, старик уже начал догадываться, и каждое его слово было для Якко двусмысленным. Тревожный, трепещущий, он следил за каждым движением старика: вот он опустил глаза в землю – не чует ли в подполице золотых слитков; он смутно озирается – не просвечивается ли где розовое сияние дивного камня; он приближается к очагу, взглядывает на Якко – не проник ли тайны?

Чего не выдумывал Якко, чтоб удалить от графа сомнение! Между тем от времени ли, от неудач ли, старик делался час от часу брюзгливее, взыскательнее; но счастливый алхимик потерял чувство своей горделивой бедности; он исполнял все прихоти старика, не смея ему противоречить, сносил его презрительные речи с покорностью раба; пресмыкался с полным уничтожением, с полным забвением всякого человеческого достоинства. Тщетно звал он на помощь Саламандру – Саламандра не отвечала.

Однажды, выведенный из терпения, Якко едва мог удержать себя... К счастью, старик задремал. Якко как сумасшедший выбежал из лаборатории и бросился к Эльсе; она испугалась, но Якко, несмотря ни на что, потащил ее с собою к очагу, посадил на стул, сжал ее плечи железными руками и грозным шепотом проговорил:

– Именем старого деда, Эльса, говори, как мне избавиться от старика?

Эльса сначала затрепетала... потом мало-помалу успокоилась, наконец отвечала прерывистым голосом:

– Избавиться... от старика... легко... стоит... только... пожелать...

– Пожелать? – вскричал Якко, – как Мари...

– Не знаю... да что ж тут страшного?... человеку... стоит... пожелать... и старика... не станет...

– Не станет? Но он знатный боярин: если он исчезнет, будут искать его, догадаются, придут ко мне.

– Зачем... старику... исчезать?... ты разве не можешь заступить его место... быть также... знатным... жить в богатых палатах... не бояться своих золотых слитков?..

– Что ты говоришь, Эльса? Возможно ли это?

– Нет ничего... невозможного... для воли человека... стоит только пожелать...

– Да как не желать мне этого? – вскричал Якко так громко, что старик проснулся, устремил оцепеневшие глаза на Якко, хотел что-то выговорить...

В эту минуту алхимику показалось, что пред ним стоит не граф, но старый дед Руси, лет 30 тому умерший.

Испуганный Якко хотел броситься к нему; но раздался страшный, оглушающий треск... пламя взвилось из атанара, потекла из него огненная лава; густой багряный дым наполнил комна-

ту, в дыме вертелись лица старика, Эльсы, Мари, старого деда...

Когда Якко пришел в себя, старика уже не было, – атанар лежал в дребезгах.

Якко ощупал на себе бархатное платье, узнал тот самый кафтан, который всегда носил старый граф, в смущении подошел к небольшому круглому зеркалу, висевшему в лаборатории, и в нем, вместо себя, увидел изрытое морщинами лицо, седые волосы, – словом, старого графа.

Поздно вечером возвратился граф в свои боярские палаты – толпа слуг встретила его на лестнице и с почтением проводила до кабинета. Оставшись один, граф нашел ключ в своем кармане, отворил потайной замок в поставце и положил в него вынутый из-за пазухи какой-то сверток, сквозь который виднелось розовое сияние. Потом граф подошел к столу с бумагами, прочел несколько писем, памятную записку и позвонил в колокольчик; вошел управитель.

– Отправь, батюшка, завтра подводу к красильщику Якко, да спроси там чухонку – жена его, что ли – да получи от нее ящики, которых не раскрывать и бережно принести ко мне в кабинет; а после я прикажу, что с ними делать.

В обществах старый граф замечал, что не могли надивиться его перемене, не понимали, откуда взялась у него развязность, живость, любезность, волокитство... Дамы между собою шептались, что, верно, он хлебнул своей живой воды, и уверяли, что скоро он и совсем помолодеет.

Старый граф предавался рассеянной московской жизни со всем жаром молодости. Место прежних ассамблей заступили балы, маскарады – граф не пропускал ни одного; сам держал дом открытый, сыпал золотом не считая; с утра до вечера толпился народ в графских палатах; для всех проходящих по улице был готовый прибор в столовой графа, и вино полными чашами выпивалось за здоровье тороватого боярина.

Так протекли долгие годы; старик не старился, золото его не истощалось, но был ли он счастлив, того не знал никто; замечали, что часто посреди шумного веселья мрачная грусть являлась на лице графа. До счастливица доходил невнятный говор толпы:

– Верно, бес его мучит, – говорили одни.

– Занят государственными делами, – говорили другие.

– Старый хрыч просто влюблен, – отвечал третий.

– В кого? В кого? – шептало несколько голосов между собой.

– Я знаю в кого, – проговорил один голос, – в молоденькую княжну Воротынскую; смотри, как он за нею ухаживает, глаз с нее не спускает...

– Ах, он старый! Да ей не более шестнадцати лет...

– Что нужды! Седина в бороду, бес в ребро.

– Да за чем же дело стало?

– Я знаю, что и родным того же хочется, да, вишь, девка-то артачится; говорит, стар больно.

– Я не буду больше с тобою спорить, – говорила графу старая княгиня, сидя с ним на диване в одной из отдаленных комнат графского дома, – скажу тебе по правде, что нам эта женитьба очень по сердцу, но скажу и то, что девка тебя терпеть не может – мы отдаем ее за тебя неволею; знай это – да и в самом деле, правду сказать, ты уже не молод, батюшка.

Пламенный старик целовал руки у княгини.

– Будь спокойна, матушка; не смотри, что я стар: твоя красавица привыкнет ко мне и полюбит; наружность обманчива; верь, ни одному молодяку так не любить княжну, как я. Брильянтами ее засыплю, и тебя, и всю семью твою.

– Да уж я, батюшка, по твоей милости, и так не знаю, куда от них деваться.

По мраморным ступеням сходил жених в богатой, блестящей одежде. У подъезда стоял золоченый рыдван с графским гербом, запряженный цугом черно-пегих лошадей; кругом теснились гайдуки и скороходы, великолепно одетые.

– Куда ты? – говорили они, толкая женщину в чухонском платье, – не до тебя теперь! Видишь, теперь боярин едет жениться.

Граф, услышав шум, остановился на лестнице; говорят даже, что он побледнел, но это невероятно, потому что лицо его было крепко натерто румянами.

– Пустите, пустите ее! – сказал он слабым голосом, – пустите ее! Вы знаете, что всем ко мне свободный доступ.

Чухонку впустили; граф возвратился в приемную и по обыкновению, облокотившись на мраморный столик, старался принять на себя вид спокойный и важный.

– Ну, что тебе надобно, моя милая? – сказал он вошедшей чухонке, – говори скорее, потому что ты видишь, мне некогда.

– А что же, Якко, – отвечала ему Эльса, – скоро ли поедем домой на Иматру? Ведь не век здесь жить...

– Послушай, моя милая, – сказал граф важным голосом, – ты понимаешь, что мне теперь нет возможности с тобою ехать на Иматру, да и не следует. Что же до тебя касается, то я советую тебе ехать туда за доброй а ума; иначе я вынужден буду... ты понимаешь... Замечу тебе, красавица, что ты уже слишком смела; вот тебе денег на дорогу, будь спокойна, – и впредь тебя не оставлю...

С этими словами граф подал ей кошелек, наполненный золотом.

Эльса захохотала; еще, еще... ее голос все громче и громче... это уже не хохот, а треск, а гром... стены колышутся, разваливаются, падают... Якко видит себя в прежней своей комнате; пред ним таинственная печь, из устья тянется пламя, обвивается вокруг него; он хочет бежать... нет спасения! Стены дышат огнем, потолок разрушается, еще минута... и не стало ни алхимика, ни его печи, ни Эльсы!

– Жаль! – говорили миряне, проходя на другой день мимо пепелища, – дом-то красильщика сгорел; только что было начал разживаться, да и сам, говорят, не выскочил, сердечный.

– Куда, слышь ты! Он масло варил, а масло-то и вспыхнуло, пролилося; он туда-сюда, хотел затушить, но масло не свой брат, так все и охватило.

– Жаль! Добрый малый был; приятно было с ним вести дело.

– Только у него иногда ум за разум заходил.

– И то правда. Да не пора ли закусить, соседушко?..

Этим оканчивался рассказ дяди.

– Скажите же, дядюшка, – заметил я, – что тут общего между этим рассказом и нашими приключениями в доме купца, вашего знакомого?

– Кажется, очень ясно, – отвечал дядя, улыбаясь, – пепелище было куплено покойным князем; на нем он выстроил дом, который теперь достался купцу.

– Ну, что же?

– Все не понимаешь! На том самом месте, где была лаборатория алхимика, находится чудная зала, в которой мы были.

– Так вы предполагаете, дядюшка, что эти крики...

– Я ничего не предполагаю... а понимаю очень ясно, чего и тебе желаю.

– Но послушайте, дядюшка, неужели в самом деле вы верите, что Саламандра сожгла вашего финляндца?

– Иные, пожалуй, говорят, что г. Якко просто делал фальшивую монету, а потом, чтоб все прикрыть, сжег дом и убежал вместе с своею помощницею чухонкою: так в Москве полагали многие; другие говорили, что он был сумасшедший; третьи, что он притворялся сумасшедшим... Из всех этих мнений можешь выбрать любое...

Признаюсь, я до сих пор убежден, что все это выдумка, что дяде хотелось пошутить надо мною, и все эти крики, тени не иное что, как фантазмагория. Надеюсь, что всякий благоразумный читатель в этом согласится со мною.

Примечания

Первая часть дилогии, повесть «Южный берег Финляндии в начале XVIII столетия», была впервые напечатана в альманахе «Утренняя заря на 1841 год». СПб., 1841, с. 15–128. Повесть «Са-

ламандра», получившая позднее название «Эльса» и ставшая второй частью дилогии, впервые напечатана в журнале «Отечественные записки», 1841, т. XIV, отд. III, с. 1–38. Замысел ее относится к 1838 году. Во второй части «Сочинений» 1844 года обе повести были объединены под общим заглавием «Саламандра». Печатается по тексту Собрания сочинений 1844 года с учетом позднейшей авторской правки.

Саламандра – дух стихии огня.

В первоначальных авторских заметках действие повести происходило в Западной Европе. Сохранился следующий план произведения: "*Саламандра*: лаборатория алхимика; прошло 230 дней, он поручает молодому адепту смотреть в огонь и наблюдать, чтобы он всегда был одного цвета; засыпает; в середине калильного шара лицо улыбается юноше, уверяет его, что старец ничего не сделает, – полюби меня, и я тебе открою тайну делать золото с условием, если откроешь, я погибну и тебя погублю. Люди могут открыть наши тайны двумя способами: трудом, но долго, но любовью в одно мгновение. Юноша соглашается – (XVI век), богатеет он в Риме – богатство его привлекает внимание инквизиции, – его допрашивают – он не рассказывает, огонь его не палит, его желает видеть Лев X и приказывает оставить, как сумасшедшего. Он скрывается в Германию – новые преследования – во Францию. Там он влюбляется в одну из любовниц Франциска, она назначает ему свидание – в эту минуту он открывает ей, но Саламандра удушает их обоих – с тех пор над домом носятся вопли и стоны" (*Сакулин*, II, 75). Впоследствии действие «Саламандры» было перенесено в Россию. *Мусина-Пушкина* Эмилия Карловна (1810–1846) – светская дама, знаменитая красавица, была знакома с Пушкиным, Лермонтовым и другими писателями.

Грот Яков Карлович (1812–1893) – русский филолог, переводчик «Саги о Фригьофе» шведского поэта Э. Тегнера (1782–1846) и карело-финского эпоса «Калевала».

Повесть "Южный берег Финляндии..." предназначалась автором для издававшегося Гротом в Хельсинки юбилейного альманаха. Но по требованию шефа жандармов Бенкендорфа писатель отдал повесть В. А. Владиславлеву, издателю "Утренней зари". Гроту была послана повесть "Необойденный дом". Одоевский с интересом наблюдал за деятельностью Грота и шуточно писал ему: "В Южном берегу Финляндии"

Вы увидите, как я вокруг Вас пощечился, – пишите больше – еще вас обокрадем"

(Я. К. Грот, Переписка с П. А. Плетневым, т. I. СПб., 1896, с. 676).

Лёнрот Элиас (1802–1884) – финский фольклорист, собиратель и издатель песен «Калевалы».

Вольф Фридрих Август (1759–1824) – немецкий филолог. Считал, что «Илиада» и «Одиссея» являют собой собрание отдельных песен, написанных в разное время несколькими поэтами, и в их числе Гомером.

Иматра – порог на реке Вуокса.

Волоковое окно – маленькое, задвигающееся ставнем-волоком оконце, куда вытягивался (выволакивался) дым из курной избы.

...калевы с пахиолами... – Имеются в виду враждовавшие легендарные племена, населявшие мрачную страну зла Похъела и светлую счастливую землю Калевалы.

Верей – веревочные дверные петли.

В «Финской легенде» рассказывается в сказочно-аллегорической форме о Северной войне между Швецией и Россией и об основании Петербурга. В легенде мастерски использованы образы и традиции финского фольклора, что было отмечено Белинским, писавшим: «Можно ли лучше воспользоваться преданиями племени, чтоб написать поэму, которая в тысячу раз выше всевозможных „Петриад“ и в которой образ Петра является столь верным и истинным действительности, в своей мифической колоссальности?..» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 454).

Сампо – волшебная мельница, о которой рассказывается в «Калевале»; символ вечного счастья и изобилия. Позднее Одоевский намеревался написать повесть о русском участнике европейских революционных событий 1848 г. В плане этой повести говорится о финляндском Сампо как о «прообразе социализма» (ОРГЛБ, ф. 539, оп. I, пер. N 20, л. 46),

Юмала – в финской мифологии бог грома.

Пергола – дьявол.

...сестра царева... – царевна Софья Алексеевна (1657–1704), жаждавшая власти и противившаяся реформам Петра I.

Выборг – крепость, взятая в 1710 г. русскими войсками под командованием Ф. М. Апраксина.

Фузилеры – пехотинцы, вооруженные кремневыми ружьями – фузеями.

Куракин Борис Иванович (1676–1727) – русский дипломат. По поручению Петра I присматривал за учившейся в Европе русской молодежью.

...Нейштадтский трактат... – Ништадтский мирный договор, заключенный в 1721 г. между Россией и Швецией.

Фижмы – юбка на китовом усе.

Полуроброн – старинное бальное платье с широкой юбкой на каркасе в виде обруча.

Просвирня – женщина, выпекавшая для церковных обрядов особый хлеб – просфоры.

Цельзиус (Цельс) Авл Корнелий (I в. до н. э. – I в. н. э.) – древнеримский медик.

Соллогуб Владимир Александрович (1813–1882) – русский писатель, приятель Одоевского.

Понтанус (Понтано) Джованни (1426–1503) – итальянский поэт и ученый, писавший полатыни. О нем с иронией отзывался Рабле в своем романе «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Кунсткамера – хранилище исторических и художественных коллекций и редкостей в Петербурге, учрежденное Петром I в 1714 г.

...даровитостью... – По-видимому, надо читать «тароватостью», т. е. щедростью.

...старобоярский дом... – Эти мысли Одоевского перекликаются с «Путешествием из Москвы в Петербург» Пушкина, где, в частности, говорится: «Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного... Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством» (Пушкин. Полн. собр. соч., т. XI, с. 246–247).

Жозефина (1763–1814) – первая жена Наполеона Бонапарта.

«*Брюсов календарь*» – Впервые вышел в 1709 г. и содержал различные астрологические предсказания. Автором календаря считали «чернокнижника» Я. В. Брюса, между тем составил книгу библиотекарь Василий Киприянов.

Сухарева башня – готическое трехъярусное здание в Москве, построенное Петром I в 1692 г.

В образе *старого графа* воплотились некоторые черты Я. В. Брюса (1670–1735), ученого и полководца, сподвижника Петра, слывшего в народе колдуном и чернокнижником. В помещении Сухаревой башни; находились кабинет и обсерватория Брюса. Как соредатор «Отечественных записок», Одоевский был знаком с незавершенным историческим романом И. И. Лажечникова о Брюсе «Колдун на Сухаревой башне», печатавшимся в этом журнале в 1840 г.

Жупел – кипящая сера в аду. В переносном смысле – нечто пугающее, непонятное.

Фламмель Никола (1330–1418) – французский юрист и алхимик.

Гебер – автор, написавших по-латыни алхимических трактатов, живший в XIII в.